
Александра Адаменко
Леди Алиса
Поместье для тёмного герцога

Александра Адаменко

Леди Алиса. Поместье для тёмного герцога

«Автор»
2026

Адаменко А.

Леди Алиса. Поместье для тёмного герцога / А. Адаменко — «Автор», 2026

Она мечтала о спокойной жизни. Получила заброшенное поместье, магический мир и тёмного герцога с отвратительным характером!Алевтина Смирнова и подумать не могла, что однажды окажется в Асдерии — мире, где магия соседствует с грязью, а элементарные удобства считаются роскошью. Теперь она Алиса, и в её распоряжении запущенное поместье, подозрительная прислуга и целая гора проблем.Но Алиса не из тех, кто опускает руки. Она знает, как превратить развалины в уютный дом. Вот только кто-то явно не рад её успехам. Деньги поместья исчезают, управляющий плетёт интриги, а впереди маячит возвращение настоящего хозяина.Валериан фон Грант — могущественный герцог, прославленный полководец и человек, чьё имя внушает страх. Он привык, что ему подчиняются. Но новая хозяйка его поместья явно не собирается следовать этому правилу.Что победит: ледяной характер герцога или упрямство женщины, которая решила подарить этому миру немного комфорта?

© Адаменко А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Пробуждение в карете 5
Глава 2. Хозяйка без прав 12
Глава 3. Деревня у озера 19
Глава 4. Зола, жир и упрямство 25
Глава 5. Первая пена 32
Глава 6. Кладовик 39
Конец ознакомительного фрагмента. 40

Александра Адаменко
Леди Алиса. Поместье для тёмного герцога

Глава 1. Пробуждение в карете

Ярмарка мастеров закрылась в восемь вечера, а в половине девятого Алевтина Сергеевна Смирнова уже стояла на заснеженной парковке у выставочного центра и пыталась впихнуть в багажник своей старенькой «Лады» четыре коробки мыла, две коробки свечей и раскладной стол, который сопротивлялся с упорством опытного саботажника.

— Ну давай, родной, — сказала она столу. — Ты же складной. Это твоя профессия.

Стол со скрипом сложился и прищемил ей палец. Алевтина подула на палец, выругалась шёпотом — интеллигентно, как и подобает женщине с высшим техническим образованием, — и захлопнула багажник.

Ярмарка, в общем, удалась. Лавандовое ушло почти всё, медовое с овсянкой — до последнего бруска, хвойные свечи разобрали к обеду. Не продалось только «Дегтярное мужское», но оно никогда не продавалось на московских ярмарках: столичные мужчины предпочитали пахнуть чем угодно, кроме дёгтя. В Твери, кстати, брали. В Твери вообще люди понимали в жизни больше.

Алевтине был сорок один год. Последние десять из них она держала маленькую мастерскую натурального мыла и свечей с гордым названием «Мыльня Смирновой» — две комнаты в полуподвале на окраине, вытяжка, которую она сама уговаривала работать, и пожарный инспектор, которого она тоже уговаривала, правда, другими средствами. До мастерской было пятнадцать лет на пищевом комбинате: технолог, потом старший технолог, потом начальник смены, потом сокращение, потом развод, потом очень долгий вечер на кухне с бабушкиной тетрадкой рецептов и мыслью, что жизнь, кажется, закончилась.

Жизнь не закончилась. Бабушка, которая тридцать лет назад варила мыло в деревне под Торжком, из золы и сала, по старинке, научила маленькую Алю многому — как растопить печь, чтобы не угореть, как поставить тесто, как отличить хороший щёлок от плохого на кончике пера, как держать в доме порядок так, чтобы порядок держал тебя. Взрослая Алевтина добавила к бабушкиной науке институтскую химию, санитарные нормы и умение составлять сметы. Получилось дело. Маленькое, хлопотное, вечно на грани убытка — но своё.

Она завела мотор, включила печку на полную и выехала на трассу.

Февраль в том году выдался злой. Снег шёл с утра, и к ночи дорогу укатало до глянцевого блеска. Фуры ползли в правом ряду, как сонные мамонты, легковушки обгоняли их нервно, рывками. Алевтина ехала аккуратно — у неё вообще была репутация аккуратной женщины, которой она отчасти гордилась, а отчасти стеснялась, — и думала о простых вещах.

О том, что кот Барсик у соседки Зинаиды Петровны наверняка опять объелся. О том, что надо заказать новую партию масла ши, пока поставщик не поднял цены. О том, что лавандового осталось три бруска, а в марте будет весенняя ярмарка, и лавандовое там улетает, как горячие пирожки. О том, что пора бы, наверное, уже не одной по трассам мотаться, а нанять кого-нибудь, хоть девочку-студентку, — но девочку-студентку надо учить, а учить некогда, потому что надо варить мыло, потому что надо платить за аренду, потому что...

Где-то под Клином пошла позёмка. Белые змеи заструились по асфальту, свет фар запутался в них, как в марле. Алевтина сбросила скорость до шестидесяти.

Встречная фура вынырнула из снежной мути внезапно и неправильно — слишком близко к середине, слишком косо, с каким-то пьяным, обречённым креном. Прицеп занесло. Его огни поплыли поперёк дороги, медленно, словно во сне, и Алевтина успела увидеть всё в мельчай-

ших подробностях: грязный номер, облепленный снегом, надпись «Перевозки» на тенте, качающуюся на зеркале водителя иконку.

Она ударила по тормозам. «Лада» пошла юзом.

Последней её мыслью — она потом, много позже, вспоминала об этом со смесью стыда и смеха — была не молитва, не лица близких и не вся прожитая жизнь, промелькнувшая перед глазами. Последняя мысль была предельно практической:

«Лавандовое не довезла».

Потом был удар, белый свет и темнота.

* * *

Сначала вернулся запах.

Пахло мокрой кожей, конским потом и сыростью — той особенной, глубокой сыростью, которая бывает в погребах и в старых деревенских сундуках. Ещё пахло дымом, но не бензином, не горелой резиной, а простым древесным дымом, как от печки.

Потом вернулась тряска.

Её мотало из стороны в сторону, подбрасывало и роняло, и каждый толчок отзывался в голове тупой болью, словно мозг болтался внутри черепа, как ложка в пустой кастрюле. Под спиной было что-то жёсткое, обитое тканью. Под щекой — что-то колючее и мокрое.

Потом вернулся холод. Холод был всеобъемлющий, пронизывающий, влажный. Он забирался под одежду, лез в рукава, кусал пальцы ног. При этом лоб горел так, словно на него положили утюг.

Последним вернулось сознание — и сразу же начало задавать вопросы.

«Больница, — решило сознание. — Меня везут в больницу. На "скорой". Почему так трясёт? Почему так холодно? Почему "скорая" пахнет лошадью?»

Алевтина открыла глаза.

Над ней был потолок — низкий, обитый когда-то бордовой, а теперь буро-серой тканью, с разводами от протечек. Сквозь щели в дверце сочился серый дневной свет. Она лежала на узкой скамье, укрытая чем-то вроде шерстяного плаща, колючего, как ёж, и влажного, как болото. Потолок качался. Скамья качалась. Мир качался.

Это была не «скорая».

Алевтина медленно, очень медленно подняла руку, чтобы потрогать горящий лоб, — и замерла.

Рука была не её.

Её рука — рука сорокалетней женщины, которая двадцать лет работала с горячими котлами, щёлочью и ножами, — была крепкой, широкой в ладони, с коротко остриженными ногтями, с застарелым шрамом от ожога на запястье и с вечной сухостью кожи, которую не спасали никакие собственные кремы. Рука, которую она видела сейчас перед собой, была тонкой, почти прозрачной, с длинными бледными пальцами и узким запястьем, на котором можно было пересчитать все косточки. Ногти обломаны, под ними траурная кайма. На безымянном пальце — тоненькое серебряное колечко с крошечным мутным камешком.

Алевтина пошевелила пальцами. Чужие пальцы послушно пошевелились.

— Так, — сказала она вслух. — Спокойно.

Голос тоже был не её. Её голос был низким, с хрипотцой — «прокуренным», как говорил бывший муж, хотя она в жизни не выкурила ни одной сигареты. Этот голос был высоким, тихим, с какой-то испуганной надломленностью, словно его владелица привыкла говорить шёпотом и извиняться после каждого слова.

— Спокойно, — повторила Алевтина чужим голосом. — Это бред. Это наркоз. Это кома. В коме бывают очень реалистичные видения, я где-то читала. Сейчас я полежу, а потом проснусь в палате, и надо мной будет медсестра с капельницей.

Карета подпрыгнула на очередной колдобине, и Алевтина больно ударилась затылком о стенку. Боль была исключительно реалистичной. Для бреда — даже чересчур.

Она осторожно села, придерживая гудящую голову. Плащ сполз, и она увидела себя — то, что теперь, судя по всему, было ею. Тёмное шерстяное платье, когда-то, наверное, приличное, а сейчас потёртое, заштопанное на локтях и забрызганное грязью. Тощие колени. Остроносые башмаки, промокшие насквозь. На коленях — маленький кожаный мешочек на шнурке и свёрнутая в трубку бумага с тяжёлой красной печатью.

Карета накренилась на повороте, и снаружи донёсся голос — хриплый, мужской, с непонятным, но странно знакомым выговором:

— Но, пошла! Пошла, кому говорю, волчья сыть!

Алевтина подалась к дверце и приникла к щели. Мимо проплывал лес — тёмный, мокрый, весенний. Чёрные ели, голые берёзы, грязные ноздреватые сугробы в оврагах, прозрачные лужи на дороге. Небо низкое, серое, тяжёлое, как мокрая овчина. Ни столбов, ни проводов, ни асфальта, ни дорожных знаков. Дорога — две колеи в глубокой грязи.

Весна, подумала Алевтина. Был февраль, а сейчас весна. Март, а то и начало апреля.

Она постучала костяшками в стенку, за которой должен был сидеть возница. Стук получился жалким, как у мышки.

— Эй! — крикнула она. — Простите! Можно вас?

Карета дёрнулась и встала. Через минуту дверца распахнулась, и в проёме возникло лицо — красное, обветренное, с сизым носом и пегой бородой, растрёпанной во все стороны. Лицо было в мокрой шапке и смотрело на Алевтину с выражением, которое трудно было назвать почтительным.

— Очнулись, госпожа? — спросило лицо без особой радости. — А я уж думал, довезу покойницу. Вот бы канцелярия обрадовалась. Двое суток в горячке — шутка ли.

— Я... — Алевтина облизнула пересохшие губы. — Куда мы едем?

Возница посмотрел на неё с подозрением.

— Так в Грантхольм, госпожа. Куда ж ещё. По указу его величества, к его светлости герцогу фон Гранту. — Он помолчал и добавил с мрачным удовлетворением человека, который давно хотел это сказать: — Почти приехали. Ещё версты три. И слава Пламени, а то у меня лошадь хромает, а ось скрипит, а вы двое суток бредили, всё какую-то лаванду поминали.

Он захлопнул дверцу. Карета тронулась.

Алевтина медленно опустилась обратно на скамью.

Грантхольм. Его величество. Герцог. Слава Пламени.

— Так, — сказала она в третий раз, уже совсем тихо. — Спокойно, Аля. Спокойно.

Спокойно не получалось.

* * *

Через полчаса карета вкатилась на холм, и дождь, который всю дорогу собирался с силами, наконец решился и хлынул — косо, холодно, с той неприкрытой злобой, на которую способна только северная весна.

Алевтина прильнула к щели.

Сначала она увидела озеро — огромное, свинцовое, в рваных клочьях тумана. Потом — деревню у воды: кучку тёмных, вросших в землю избушек с дерновыми крышами, над которыми тянулся не из труб, а прямо из щелей под стрехой сизый дым. Курные избы, машинально отметила Алевтина. Бабушка рассказывала, что её прабабка ещё жила в такой. Дым по избе, сажа на стенах, глаза слезятся с рождения до смерти.

А потом карета взобралась на вершину холма, и Алевтина увидела дом.

Дом был большим. Это было первое, что приходило в голову, и, по правде говоря, единственное хорошее, что о нём можно было сказать. Серый камень, два этажа и ещё мансарда под крутой черепичной крышей, круглая башенка на углу, широкое крыльцо с полукруглой

лестницей. Когда-то, наверное, этот дом был красивым. Строгим, северным, основательным — таким, который строят не на годы, а на века.

Но сейчас...

Половина окон на первом этаже была заколочена досками, почерневшими от дождей. Половина окон на втором зияла пустыми глазницами — без стёкол, без рам, просто дыры в камне, из которых свисали какие-то мокрые тряпки. Черепица на крыше местами съехала, местами осыпалась, и в прорехах торчали голые стропила, как рёбра павшей лошади. Водосточный жёлоб на углу оторвался и висел, раскачиваясь, а вода из него хлестала прямо на ступени крыльца. Двор зарос бурьяном по пояс — прошлогодним, бурым, полёгшим. Посреди двора стоял каменный фонтан в виде какой-то рыбы с разинутым ртом, и рыба эта была до краёв полна гнилых листьев и зелёной воды.

Алевтина двадцать лет проработала на производстве. Она видела цеха после пожара, склады после наводнения и общежития после выпускного. У неё был профессиональный взгляд на разруху.

Этот дом, по её профессиональной оценке, был в состоянии «капитальный ремонт с элементами реставрации, срок окупаемости — никогда».

Карета остановилась у крыльца. Возница слез с козел, распахнул дверцу и без лишних церемоний подал руку. Алевтина спустилась — и её тут же качнуло так, что пришлось вцепиться в мокрое колесо. Ноги в чужом теле были ватными и слабыми, голова кружилась, колени подгибались. Дождь мгновенно промочил платье насквозь.

— Ну, приехали, — сказал возница, торопливо выгружая на крыльцо единственный потёртый сундучок. — Моё дело сделано. Расписку бы мне, госпожа, что доставил в целости... Хотя какая уж тут целость. Ладно. Скажу в канцелярии, что сдал с рук на руки.

— Подождите, — сказала Алевтина. — А как вас зовут?

Возница уставился на неё так, словно его спросили, сколько звёзд на небе.

— Ганс, — сказал он наконец с подозрением. — Две недели вместе едем, госпожа. Ганс я.

— Спасибо, Ганс, — серьёзно сказала Алевтина. — Что довезли. И что не бросили, когда я бредила.

Ганс открыл рот, закрыл его, почесал бороду и вдруг смутился — как-то по-мальчишески, до красноты на и без того красных щеках.

— Да чего уж там, — пробормотал он. — Служба. Вы это, госпожа... берегите себя тут. Место-то... — он покосился на дом и понизил голос: — Нехорошее место. Говорят, проклятое. Его светлость девять лет сюда носа не кажет. Ну, бывайте.

Он вскочил на козлы, хлестнул лошадей, и карета, скрипя хромой осью, укатила вниз по холму с такой поспешностью, будто за ней гнались.

Алевтина осталась стоять под дождём перед проклятым домом с одним сундучком у ног.

Дверь наверху лестницы со скрипом отворилась.

На пороге появилась женщина. Высокая, сухая, прямая, как жердь, в тёмно-сером платье с белым крахмальным воротником, который был, пожалуй, самой чистой вещью во всём поместье. Волосы, гладко зачёсанные назад, туго стянуты в узел. На поясе — связка ключей, внушительная, как кольчуга. Лицо узкое, длинное, с поджатыми губами и светлыми, почти бесцветными глазами, в которых не было ни капли тепла.

Женщина оглядела Алевтину с головы до ног — медленно, обстоятельно, как оглядывают на рынке подгнившую рыбу, решая, стоит ли вообще торговаться.

— Леди Лейн, — сказала она. Это прозвучало не как приветствие, а как диагноз. — Я фру Хольт, экономка. Нас известили о вашем приезде.

— Здравствуйте, — сказала Алевтина и, поскольку никто не собирался помогать ей с сундучком, взяла его сама. Сундучок оказался тяжёлым. Чужие руки едва его удержали. — Я, кажется, немного больна. Мне бы обсохнуть и...

— Ваша комната готова, — перебила фру Хольт. — Следуйте за мной.

Комната оказалась на третьем этаже, в мансарде северного крыла, в самом конце длинного тёмного коридора, где пахло мышами и плесенью. Фру Хольт открыла дверь большим железным ключом и посторонилась, пропуская Алевтину.

Комната была маленькой и низкой, со скошенным потолком, на котором темнело огромное мокрое пятно. Узкая кровать с продавленным соломенным тюфяком. Колченогий стол. Стул. Сундук. Камин — крошечный, холодный, с горкой мокрой золы. Окно, затянутое вместо стекла промасленной бумагой, которая надувалась и опадала от ветра, как больные лёгкие. В углу что-то капало в подставленное ведро — размеренно, монотонно, с унылой настойчивостью метронома.

— Ужин подают в людской в шесть, — сказала фру Хольт. — Хозяйских покоев открывать не велено. Дров на этой неделе нет. Свеча одна. Если что-то понадобится — обращайтесь ко мне. Лучше не обращайтесь.

И, прежде чем Алевтина успела ответить, дверь закрылась. В замке повернулся ключ — снаружи.

Алевтина постояла посреди комнаты. Капля упала в ведро. Ещё одна.

Потом она очень аккуратно поставила сундучок на пол, села на продавленный тюфяк, закрыла лицо чужими тонкими ладонями и, впервые за эти бесконечные сутки — или две недели? — позволила себе тихо, беззвучно расплакаться.

Плакала она недолго. Ровно столько, сколько требовалось, чтобы дать себе разрешение. Потом вытерла лицо рукавом, шмыгнула носом и сказала вслух, своим новым тонким голосом, но своими старыми словами:

— Ладно. Реветь будем потом. А сейчас — акт приёмки.

* * *

Ночь пришла рано и сразу.

Дождь утих, но ветер не унимался — он гулял по мансарде, свистел в щелях, хлопал бумажным окном. Свеча, единственная, обещанная фру Хольт, оказалась огарком длиной в полпальца, сальным, вонючим и коптящим. Алевтина зажгла её от уголька, который отыскала в золе камина и раздула упрямым дыханием, и теперь сидела на кровати, завернувшись в колючий плащ, и при свете этого жалкого огонька разглядывала бумагу с красной печатью.

Бумага была плотная, желтоватая, исписанная крупными витыми буквами. И самым странным — самым жутким, если честно, — было то, что Алевтина могла это прочитать. Буквы были незнакомые, острые, похожие на готический шрифт со старых немецких открыток, но глаза скользили по ним легко, а смысл всплывал в голове сам собой, словно кто-то шептал перевод на ухо.

«Мы, Ульрих Четвёртый, милостью Единого Пламени король Асдерии, владыка Солмара и Северной марки, повелеваем...»

Дальше шло длинно, витиевато и с множеством повторов, но суть Алевтина ухватила. Барон Эрих Лейн, верный подданный, скончался, оставив дочь Алису двадцати лет и долги, многократно превышающие стоимость имения. Имение отходит кредиторам. Дочь, не имеющая ни родни, ни средств, ни — тут в указе стояло деликатное, но недвусмысленное выражение — «достойного её крови дара», передаётся под опеку его светлости Валериана, герцога фон Гранта, «до той поры, пока не будет устроено её замужество, приличное её положению».

Внизу стояла подпись короля, размашистая, как удар мечом. А под ней — приписка другим почерком, мелким, острым, нетерпеливым, будто писавший торопился и злился:

«В Грантхольм. В.»

И всё.

Алевтина перечитала приписку трижды. «В Грантхольм. В.» Два слова и буква. Ни здравствуйте, ни соболезнования, ни «добро пожаловать». Просто: в Грантхольм. С глаз долой, в

заброшенное поместье на краю света, где девять лет никто не жил, где течёт крыша и экономка запирает гостей на ключ.

— Очаровательный мужчина, — сказала Алевтина приписке. — Прямо чувствуется широта души.

И тут на неё накатило.

Это было похоже на то, как в тёмной комнате вдруг включается старый телевизор — сначала шипение и рябь, потом мелькание обрывков, потом звук. Она увидела — не своими глазами, а чьими-то чужими, изнутри — маленький дом с облупленными ставнями. Высокого сутулого мужчину с добрым усталым лицом и вечно виноватой улыбкой: «Не грусти, Лисёнок, всё образуется». Женщину в кружевном чепце, которая кашляла кровью в платок и умерла, когда девочке было девять. Строгую даму в огромном зале, где пахло воском и ладаном: «Испытание Искры показало — бытовой дар. Только бытовой. Мне очень жаль, барон». Шепотки за спиной: «Пустышка. Бедная девочка. Кто ж её теперь возьмёт». Пустую столовую, где из мебели остались только стол и два стула. Кредиторов в грязных сапогах. Свежий холмик земли на кладбище под мелким дождём. Чиновника в канцелярии, который читал указ скучным голосом, не поднимая глаз. И страх — бесконечный, липкий, тихий страх, который жил в этом теле так долго, что стал его частью, как кости и кровь.

Алиса. Её звали Алиса. Девочка, которая всю жизнь извинялась, ходила на цыпочках и мечтала стать невидимой. Которая две недели тряслась в холодной карете, простудилась, сгорела в лихорадке — и...

И что? Куда она делась? Умерла? Уступила место? Спит где-то внутри?

Алевтина прислушалась к себе — честно, внимательно, как прислушиваются к странному звуку в моторе. Внутри было тихо. Никто не отзывался. Были только воспоминания — как старые фотографии в чужом альбоме. Тёплые, грустные, но не живые.

— Прости, девочка, — тихо сказала Алевтина в темноту. — Я не знаю, как так вышло. Но я постараюсь... не опозорить тебя. Честное слово.

Свеча мигнула, будто соглашаясь.

Алевтина вздохнула, поставила огарок на стол и улеглась, подтянув колени к груди, — так было теплее. Голова гудела. Лоб горел. Мысли путались. Завтра. Всё завтра. Завтра она посмотрит дом, поговорит с экономкой, попросит дров, выяснит, кто здесь главный и на что можно рассчитывать...

Сквозь подступающий сон она услышала шорох.

Тихий, осторожный, деловитый. Словно кто-то маленький и лёгкий пробирался вдоль стены, стараясь не наступать на скрипучие половицы и всё равно на каждую наступая.

Алевтина приоткрыла глаза.

Свеча горела на столе. Вернее, ещё горела. А рядом со свечой, на краю стола, в густой тени, светились два глаза. Круглые, жёлтые, большие, как пуговицы на дублёнке. Они смотрели не на Алевтину — они смотрели на свечу. С вожделением. С такой неприкрытой, отчаянной, голодной страстью, с какой Алевтина в студенчестве смотрела на витрину кондитерской.

Тень шевельнулась. Что-то тонкое, похожее на маленькую цепкую лапку с длинными пальцами, протянулось к огарку.

Свеча погасла.

Раздался торопливый шорох, приглушённое довольное пыхтение — и тишина.

Алевтина резко села на кровати.

— Эй! — сказала она в темноту возмущённым шёпотом. — А ну верни свечку! Она у меня одна!

Темнота помолчала. Потом откуда-то из угла, из-под самого пола, донёсся звук — тонкий, скрипучий, похожий на голос рассохшейся половицы. Звук очень подозрительно напоминал хихиканье.

И стих.

Алевтина посидела ещё немного, вглядываясь в непроглядную тьму, в которой капала вода и хлопало бумажное окно. Потом медленно легла обратно.

— Отлично, — сказала она потолку. — Проклятый дом. Экономка-надзирательница. Опекун, который пишет записки из двух слов. И теперь ещё кто-то ворует свечи.

Она подумала и добавила, уже засыпая:

— Ничего. Разберёмся. Не таких разбирали.

За стеной, где-то под самым полом, что-то тихо и довольно чавкнуло.

Глава 2. Хозяйка без прав

Утро началось с того, что Алевтина проснулась — и некоторое время честно ждала медсестру с капельницей.

Медсестра не пришла. Пришёл серый рассвет, просочившийся сквозь промасленную бумагу окна, и вместе с ним пришло понимание: нет, это не сон, не кома и не бред. Капля всё так же падала в ведро. Пятно на потолке за ночь, кажется, стало больше. Тюфяк под боком колол соломой. А руки, которыми она протёрла глаза, по-прежнему были тонкими, бледными и чужими.

Жар, однако, спал. Голова ещё кружилась, во рту было сухо, как в пустыне, но тот раскалённый утюг, что лежал вчера на лбу, куда-то исчез. Молодой организм, подумала Алевтина с завистью, будто речь шла о ком-то постороннем. В сорок один она после такой простуды неделю бы пластом лежала.

Она села, свесила ноги с кровати — пол оказался ледяным — и посмотрела на свои ступни. Маленькие, узкие, с синеватыми от холода пальцами.

— Доброе утро, — сказала она ступням. — Будем знакомы.

Ступни промолчали. Это было даже к лучшему.

Нужно было как-то себя называть. Не вслух — про себя. Алевтина Сергеевна Смирнова осталась там, на заснеженной трассе под Клином, в искорёженной «Ладе» с коробками недопроданного мыла. Здесь её звали Алисой Лейн, и, судя по всему, так будут звать и дальше. Если она начнёт откликаться на другое имя или, не дай бог, представляться Алевтиной, её быстро запишут в сумасшедшие. А что делают с сумасшедшими в мире, где правит какое-то Единое Пламя, лучше было не выяснять.

Алевтина. Алиса.

Она покатала оба имени на языке — и вдруг тихо засмеялась. Бабушка звала её Алей. Алей звали и Алису — там, в воспоминаниях, отец называл её то Лисёнком, то Алей. Получалось, что даже уменьшительное имя у них было одно на двоих.

— Значит, Аля, — сказала она. — Для своих. А для чужих — леди Алиса Лейн. Договорились.

Сказала — и почувствовала, как что-то внутри встало на место. Тихо, без щелчка, но надёжно, как встаёт на место вывихнутый сустав.

Дверь, к её удивлению, оказалась не заперта. Кто-то отпер её ночью или на рассвете — бесшумно, не заходя. Алиса — теперь уже окончательно Алиса — натянула чужие холодные башмаки, накинула на плечи колючий плащ, расчесала пальцами спутанные волосы (волосы оказались длинными, тёмно-русыми, тяжёлыми, с медным отливом, и это было, пожалуй, первым приятным открытием за двое суток) и вышла в коридор.

Пора было проводить приёмку объекта.

Через два часа у неё сложился акт.

Не на бумаге, конечно, — бумаги не было, чернил тоже, — а в голове, в той самой профессиональной голове, которая двадцать лет составляла акты, протоколы, сметы и докладные записки. Акт получался длинный. И очень, очень печальный.

«Объект: жилой дом, каменный, два этажа плюс мансарда, угловая башня. Год постройки — неизвестен, предположительно давно. Последний капитальный ремонт — предположительно никогда».

Дом был огромен. Она насчитала тридцать две комнаты — и это не считая подвалов, куда она пока не решилась спуститься, и мансарды, где жила она сама. Большая часть комнат была заперта. Те, что не были заперты, производили такое впечатление, что лучше бы были.

«Крыша: протекает. Протекает везде. Особенно в северном крыле. Следы протечек на потолках третьего, второго и — внимание — первого этажа. Это значит, что вода проходит через два перекрытия. Это значит, что перекрытия гниют».

В парадной гостиной на втором этаже вся мебель стояла под серыми холщовыми чехлами, похожими на привидения. Алиса приподняла край одного чехла — и тут же опустила, потому что из-под него с писком выскочило что-то серое, длиннохвостое и наглое, пробежало по её башмаку и скрылось в дыре под плинтусом. Под чехлом обнаружилось кресло, обитое когда-то голубым шёлком. Шёлк был изгрызен в бахрому. В сиденье было гнездо.

«Грызуны: присутствуют. В количестве, достаточном для учреждения собственной гильдии».

В огромной столовой с длинным дубовым столом на двадцать персон пахло так, что у Алисы заслезились глаза. Плесень. Чёрная, бархатистая, роскошная плесень расползалась по стенам от пола до потолка, рисуя на штукатурке причудливые карты несуществующих стран. Алиса подошла поближе и потрогала стену. Стена была мокрой и холодной, как лягушка.

«Вентиляция: отсутствует. Окна закрыты наглухо девять лет. Влажность — как в бане, только без пользы для здоровья. Плесень — чёрная, разновидность, предположительно, токсичная. Жить в таких помещениях нельзя. Дышать, в принципе, тоже».

Кухня, к которой она спустилась по узкой чёрной лестнице, оказалась единственным местом в доме, где теплилась жизнь. Огромная печь с чугунной плитой. Длинный стол, изрезанный ножами. Медные котлы на крюках — тусклые, зелёные от окиси. Связки лука и чеснока под потолком. И дым. Боже, сколько дыма. Он не уходил в трубу, как положено приличному дыму, а стелился по потолку густым сизым одеялом, ел глаза и оседал на всём жирной чёрной копотью.

«Печи: дымят. Все. Тяги нет. Дымоходы, очевидно, не чищены годами. В лучшем случае — угар и головные боли у персонала. В худшем — пожар».

Кухарка — грузная пожилая женщина с красным распаренным лицом и обеими руками, замотанными в грязные тряпки, — глянула на Алису без интереса и отвернулась к своим котлам. Две молоденькие служанки, чистившие репу у окна, переглянулись и захихикали.

Алиса поднялась обратно. В бельевой, куда она сунула нос, на полках лежали стопки простыней и скатертей — серых, в рыжих пятнах, с отчётливым запахом гнили. Она развернула одну простыню, и та расползлась у неё в руках, как мокрая бумага.

«Текстиль: сгнил. Хранился в сырости, без проветривания и пересушки. Восстановлению не подлежит. Подлежит сожжению — желательно, вместе с бельевой».

Она прошла через весь первый этаж до восточного крыла. Здесь была высокая двустворчатая дверь, украшенная резными дубовыми листьями, — и она была заперта на огромный замок, тяжёлый, ржавый, с висячей печатью из красного воска. Печать была старая, потрескавшаяся, с оттиском какого-то герба: щит, на щите — ель и ледяная звезда.

Хозяйские покои, догадалась Алиса. «Открывать не велено».

Рядом с дверью на стене висела большая картина, затянутая чёрным крепом. Креп прогнил, в нём были прорехи, и сквозь одну из них Алиса разглядела кусочек: женская рука в кружевной манжете на плече девочки в белом. Девочка держала в руках букетик васильков.

Алиса постояла перед картиной. Почему-то стало зябко. Не от сырости — от чего-то другого.

Она отвернулась и пошла дальше.

К концу обхода в голове сложился итог. Подвести его можно было коротко, одной строчкой, такой, которую она в своё время ставила в самых безнадёжных актах — о списании оборудования:

«Объект в текущем состоянии к эксплуатации не пригоден».

А чуть ниже, мелким почерком, как приписка, которую нельзя показывать начальству:

«Но если очень захотеть...»

Алиса поймала себя на том, что улыбается. Вот же дура, подумала она с нежностью. Попала в чужое тело, в чужой мир, в проклятый дом с плесенью, крысами и экономкой-надзирательницей — и уже прикидывает, с чего начать ремонт.

Бабушка бы одобрила.

* * *

Управляющий нашёл её сам — в коридоре второго этажа, когда она пыталась открыть заклинившую ставню, чтобы хоть немного проветрить гостиную.

— Леди Лейн! Ах, вот вы где. А я вас ищу по всему дому!

Голос был мягкий, бархатный, обволакивающий, как тёплое масло. Алиса обернулась.

Перед ней стоял мужчина лет пятидесяти — плотный, круглый, с приятным розовым лицом, на котором будто навсегда застыла выражение вежливой озабоченности. Волосы седые, аккуратно подстриженные. Бородка — маленькая, клинышком, ухоженная. Кафтан из добротного тёмно-синего сукна с медными пуговицами, начищенными до блеска. Белоснежный шейный платок. На пальцах — два перстня. Пахло от него розовой водой и чем-то сладким, вроде пряничного теста.

Он был так чист, так опрятен, так благоухающ посреди этой разрухи, что Алиса на мгновение даже растерялась. Это было всё равно что встретить на свалке человека в смокинге.

— Грегор Хольт, — представился он и поклонился — неглубоко, но изящно. — Управляющий поместьем Грантхольм. Уже девятый год, с вашего позволения, тяну на себе это несчастное хозяйство. Как вы себя чувствуете, миледи? Ингрид сказала, вы прибыли больной. Ах, эти дороги! Эта весенняя распутица! Я лично просил его светлость подождать с вашим приездом до лета, но разве он слушает...

— Благодарю, мне лучше, — сказала Алиса. — Ингрид — это...

— Моя супруга, — с гордостью сообщил Хольт. — Фру Хольт. Наша экономка. Строгая женщина, не спорю, но без её строгости здесь давно бы всё растащили. Вы не представляете, миледи, что такое управлять поместьем, хозяин которого ни разу за девять лет... — Он вздохнул так горестно, что у Алисы невольно дрогнуло сердце. — Впрочем, не буду утомлять вас жалобами. Пойдёмте ко мне в контору. Я должен показать вам, как обстоят дела, чтобы вы понимали... гм... наше положение.

Контора помещалась в маленьком флигеле у ворот, и это была вторая чистая комната, которую Алиса увидела в Грантхольме. Тут было тепло — в изразцовой печке весело потрескивали дрова, и дым, к её глубокому удивлению, уходил куда надо. На окне висели занавески. На полу лежал ковёр. На полках стояли ряды толстых конторских книг в кожаных переплётах, ровные, как солдаты на параде.

Хольт усадил её в мягкое кресло, а сам сел за стол и открыл одну из книг.

— Вот, извольте взглянуть, — сказал он и развернул книгу к ней.

Алиса взглянула. Страницы были разлинованы аккуратнейшим образом, цифры выведены каллиграфическим почерком, итоги подведены красными чернилами. Поступления. Расходы. Жалованье. Ремонт. Подати.

Она читала цифры, и Хольт объяснял — мягко, терпеливо, как объясняют ребёнку.

Урожаи последние годы плохие — то засуха, то дожди, то червь. Крестьяне бедствуют и подати платят с недоимками. Лес продавать нельзя — его светлость запретил. Мельница стоит — жернов треснул, а новый стоит денег. Пивоварня закрыта — пивовар помер, нового не нашли. А его светлость, герцог, денег не присылает вовсе — «на армию, всё на армию, будто поместье само себя прокормит». Сам же он, Грегор Хольт, вынужден из собственного кармана — да-да, миледи, из собственного! — доплачивать жалованье слугам, чтобы те не разбежались.

— Так что, как видите, — заключил он со вздохом, закрывая книгу, — денег нет. Совсем. Я, разумеется, выделю вам содержание. Его светлость указал — одну марку в месяц, на ваши

личные нужды. Стол — в людской, вместе с прислугой, уж простите, но кормить вас отдельно мы никак не можем. Комната у вас есть. Дрова... с дровами сложно. Но к лету и не понадобятся.

Одна марка в месяц, подумала Алиса. Она понятия не имела, много это или мало, но по тону Хольта было ясно, что скорее милостыня, чем содержание.

— Господин Хольт, — сказала она осторожно, — а крыша? Она течёт. В столовой плесень. Печи дымят. Если ничего не делать, к зиме дом...

— Ах, миледи! — Хольт всплеснул руками с перстнями. — Вы думаете, я не знаю? Я девять лет пишу его светлости! Девять лет! Прошу, умоляю, напоминаю! А он молчит! Ни гроша на ремонт! Что я могу? Я лишь скромный управляющий. Его светлость, видимо, решил, что этот дом ему не нужен. После того, что здесь случилось...

— А что здесь случилось?

Хольт замялся. Покачал головой с видом человека, который знает слишком много и слишком мало может сказать.

— Ах, миледи, не мне рассказывать. Это дело семейное. Скажу лишь — хозяин сюда не вернётся. Никогда. А раз так... — Он развёл руками. — Мы просто стараемся выжить. Как можем.

Он улыбнулся ей тёплой, понимающей, отеческой улыбкой — и Алиса вдруг подумала, что где-то уже видела эту улыбку. Не здесь. Там, в прошлой жизни. На пищевом комбинате у неё был начальник снабжения, Валерий Палыч, — милейший человек, душа компании, всегда с шоколадкой для секретарш и с соболезнованиями для уборщиц. Он тоже всегда сокрушался о нехватке средств. А потом выяснилось, что он три года продавал налево сухое молоко целыми фурами.

У Валерия Палыча были точно такие же аккуратные бумаги. Ровные цифры, красные итоги, каллиграфия.

Слишком аккуратные, как сказала тогда ревизорша, которая его раскрыла. В настоящей бухгалтерии, Алечка, всегда грязь. Помарки, исправления, кляксы. Когда всё идеально — значит, кто-то очень старался. А зачем стараться, если тебе нечего прятать?

Алиса посмотрела на ровные ряды книг. На изразцовую печь, которая не дымила. На занавески. На перстни.

— Благодарю вас, господин Хольт, — сказала она и встала. — Вы мне всё очень понятно объяснили.

— Рад служить, миледи, — поклонился Хольт. — И, если позволите совет... Не утруждайте себя хозяйством. Это не женское дело. Отдыхайте, поправляйтесь. Гуляйте. Скоро лето, у нас тут очень красиво летом. А всё остальное оставьте мне.

— Непременно, — сказала Алиса и улыбнулась — так кротко и смиренно, как только умела прежняя Алиса Лейн.

Хольт улыбнулся в ответ.

Оба они, пожалуй, остались довольны своим представлением.

* * *

В шесть вечера Алиса спустилась в людскую.

Людская помещалась в полуподвале рядом с кухней — длинная низкая комната с закопчённым сводчатым потолком, длинным столом и лавками вдоль стен. Здесь было тепло, дымно и шумно. За столом сидело человек десять: служанки, лакеи, конюхи, какие-то парни в засаленных куртках. Во главе стола, на отдельном стуле с высокой спинкой, восседала фру Хольт — прямая, как кочерга, с ключами на поясе.

Когда Алиса вошла, разговоры стихли. Все головы повернулись к ней. Десять пар глаз уставились на неё с откровенным любопытством — так смотрят на двухголового телёнка на ярмарке.

— Добрый вечер, — сказала Алиса.

Никто не ответил. Потом одна из служанок — круглолицая, румяная, с соломенными косами — громко прыснула в ладонь. Вторая, худенькая и востроносая, толкнула её локтем и тоже захихикала.

— Садитесь, леди Лейн, — сказала фру Хольт, не поднимая глаз от своей тарелки. — В конце стола есть место.

Место в конце стола было рядом с дверью, где сквозило, и рядом с помойным ведром, где пахло. Алиса села. Кухарка — та самая, с замотанными руками, — молча шлёпнула перед ней миску. В миске было что-то серое и холодное — то ли каша, то ли похлёбка, то ли то и другое сразу, остатки, соскобленные со дна котла. Рядом положили кусок хлеба — чёрного, чёрствого, с краю погрызенного.

Алиса посмотрела в миску. Потом — на миску фру Хольт. У фру Хольт на тарелке дымилось мясо — хорошее, с подливкой, с печёной репой. Перед лакеями стояли кружки с пивом. Перед служанками — каша с маслом.

— Это что? — тихо спросила Алиса у кухарки.

— Что осталось, — буркнула кухарка, не глядя на неё.

Через стол долетел громкий шёпот — та самая круглолицая служанка говорила своей востроносой подружке, но так, чтобы слышали все:

— А говорят, у неё вовсе дара нет. Пустышка.

— Бытовой у неё, — авторитетно отозвалась востроносая. — Мне Йорн сказывал, ему возница рассказал. Как у моей бабки. Молоко скисать не даёт, и всё.

— Фу. Как у бабки. А ещё баронесса.

— Да какая она баронесса! Отец в долгах помер, имение отобрали. Её сюда сбагрили, потому что никому не нужна. Даже герцогу. Он её и видеть не захотел.

— Ну, хоть мыть полы ей тут не придётся. Хотя кто знает... — И снова смешок.

Высокий парень со шрамом на подбородке — видимо, тот самый Йорн — откинулся на лавке и оглядел Алису долгим масленым взглядом, от которого захотелось немедленно помыться.

— Ничего, — сказал он с ухмылкой. — Пустышка-то пустышка, а с лица ничего. Отмыть бы только.

Служанки взвизгнули от восторга. Лакеи заржали. Фру Хольт не сказала ни слова — только чуть приподняла уголок губ.

Алиса сидела и смотрела в серую холодную кашу.

Прежняя Алиса, наверное, сейчас расплакалась бы. Или убежала бы в свою мансарду. Или просто сидела бы, опустив голову, и молчала, и ждала, пока им надоест. Алиса чувствовала, как это тело хочет сделать именно это — сжаться, съёжиться, исчезнуть. Мышцы помнили. Плечи сами собой поползли вверх, подбородок сам собой опустился.

Но у Алевтины Сергеевны Смирновой было двадцать лет на производстве. Она начинала мастером смены в цеху, где работали сорок женщин и двенадцать грузчиков, и в первую неделю грузчики тоже обсуждали её фигуру. Во вторую неделю они уже звали её Сергеевной и боялись опаздывать.

Она медленно выпрямилась. Расправила плечи — с усилием, как разгибают ржавую пружину. Подняла голову и посмотрела на Йорна. Спокойно, внимательно, долго — так, как смотрят на прибор, который неправильно показывает давление.

Йорн ещё некоторое время ухмылялся. Потом ухмылка начала сползать. Потом он отвёл глаза.

Алиса взяла кусок чёрствого хлеба, отломила половину — край был не погрызен — и съела его. Медленно, с достоинством, будто это была не корка, а пирожное на королевском приёме. Потом встала.

— Спасибо за ужин, — сказала она ровно. — Было очень... познавательно.

И вышла.

Уже в коридоре она позволила себе прислониться к стене и закрыть глаза. Сердце колотилось. Руки дрожали. Тело, которому она не дала сжаться, мелко тряслось от напряжения, как натянутая струна.

— Так, — прошептала она. — Значит, вот как. Ниже кухарки. Ниже судомойки. Где-то между помойным ведром и крысой.

Она постояла, подышала. Потом открыла глаза. В тусклом свете коридорной лампы её лицо — она не видела его, но чувствовала — было бледным и упрямым.

— Ну ничего, — сказала она тихо. — Посмотрим, кто кого.

* * *

Это случилось на следующий день, ближе к полудню.

Алиса как раз спускалась по чёрной лестнице — шла на кухню выпросить хоть ведро тёплой воды, чтобы наконец-то вымыться, — когда услышала звон, вскрик и звук, который ни с чем нельзя было спутать.

Звук пощёчины.

Она сбежала на последние ступеньки и замерла в дверях кухни.

Посреди кухни, в луже разлитой воды, рядом с опрокинутым деревянным ведром стояла девушка — тоненькая, лет семнадцати, в сером заштопанном платье и грубом холщовом переднике. Светлые, почти белые волосы выбились из-под чепца. Худое веснушчатое лицо. На щеке — алый след пятерни. Девушка прижимала ладонь к щеке и смотрела в пол, и плечи у неё тряслись, но она не плакала — видно было, что давно разучилась плакать на людях.

Перед ней стояла фру Хольт. В правой руке у неё был тонкий ивовый прут.

— Безрукая дрянь, — сказала фру Хольт ледяным голосом, не повышая тона. — Третье ведро за неделю. Ты знаешь, сколько стоит ведро? Ты знаешь, сколько стоит вода, которую ты разлила? Её носить надо, от колодца, сорок шагов. Кто её будет носить заново? Я?

— Простите, фру Хольт, — прошептала девушка. — Ручка оборвалась... Я не виновата, она гнилая была...

— Ах, не виновата? — Прут свистнул в воздухе. — Ведро виновато? Ручка виновата? Протяни руки.

Девушка медленно, обречённо протянула руки ладонями вверх. Ладони были красные, потрескавшиеся, в цыпках и в старых белых полосках шрамов. Кухарка у печи отвернулась. Две служанки у окна, вчерашние хохотушки, смотрели с жадным любопытством.

Прут поднялся.

— Стойте.

Алиса не сразу поняла, что это сказала она сама. Голос прозвучал непривычно — не тонко и не испуганно, а низко, твёрдо, с той самой интонацией, которой она когда-то останавливала грузчиков, собравшихся уронить паллету с банками.

Фру Хольт обернулась. Прут замер в воздухе.

— Леди Лейн, — сказала она с ледяной вежливостью. — Это вас не касается. Это дело прислуги.

— Опустите прут, — сказала Алиса.

Она не знала, откуда в ней это взялось. Тело — тело Алисы — было в ужасе. Колени подгибались, ладони вспотели, сердце колотилось где-то в горле. Но голова — голова Алевтины — была холодной и ясной.

— Я не обязана вам подчиняться, — сказала фру Хольт. — Вы здесь гостья. Причём гостья нежеланная. У вас нет здесь никаких прав.

— Я подопечная вашего хозяина, — сказала Алиса. — По указу короля. И если вы сейчас ударите эту девушку, я напишу его светлости. Подробно. О том, что видела. О том, как здесь

обращаются с людьми. О том, что ручки у вёдер гнилые, а прутья у экономки новые. И о том, что вы едите на ужин мясо с подливкой, а мне подают объедки со дна котла.

Тишина в кухне была такая, что слышно было, как в печи потрескивают дрова и как где-то под потолком гудит муха.

Фру Хольт смотрела на неё. Долго, пристально. В её бесцветных глазах что-то медленно двигалось — как рыба подо льдом.

Потом она опустила прут.

— Его светлость не читает писем из Грантхольма, — сказала она тихо. — Девять лет не читает. Но вы можете попробовать, леди Лейн. Попробуйте.

Она повернулась к девушке:

— Вытри здесь. Потом — в бельевую. Без обеда.

И вышла, прямая, как кочерга, — звякнув ключами так, будто это был не звон, а угроза.

Служанки у окна поспешно уткнулись в свою репу. Кухарка шумно загремела котлом. Девушка, стоявшая в луже, медленно опустила руки и подняла глаза на Алису.

Глаза были серые, светлые, удивительно большие на худом веснушчатом лице. В них было столько страха и столько неверия, что Алисе захотелось её обнять.

— Зачем вы так, госпожа? — прошептала девушка. — Она теперь вас... Она теперь вам этого не простит. И господин Хольт не простит. Вы их не знаете.

— Как тебя зовут? — спросила Алиса.

— Матильда, госпожа. Тильда. Из Нижних Порогов, это деревня под холмом. Мать у меня прачка.

— Тильда, — повторила Алиса. — Вот что, Тильда. Принеси, пожалуйста, ещё одно ведро — если найдётся целое — и тряпку. Вытрем вместе. А потом я хочу, чтобы ты мне кое-что показала.

— Вместе? — Матильда смотрела на неё так, словно та предложила вместе полететь на луну. — Вы, госпожа? Полы?

— Я, Тильда, — сказала Алиса и вдруг улыбнулась — по-настоящему, впервые с того момента, как открыла глаза в холодной карете. — Я, видишь ли, полы мыла задолго до того, как стала госпожой.

Матильда не поняла. Но улыбнулась в ответ — неуверенно, кривовато, одним уголком рта, на той половине лица, где не было следа пощёчины.

А в дверях кухни, незамеченная никем, на секунду мелькнула прямая серая фигура с ключами на поясе — и тут же исчезла в темноте коридора.

Война, подумала Алиса, выжимая тряпку в ведро. Ну вот и всё. Объявлена.

Она и представить себе не могла, насколько это была правда.

Глава 3. Деревня у озера

Нижние Пороги начинались прямо у подножия холма — там, где кончалась разбитая дорога от поместья и начиналась грязь.

Грязь была эпическая. Весенняя северная грязь, в которой башмак тонул по щиколотку, а потом выходил с громким чмоканьем, как пробка из бутылки, и тащил за собой половину земли. Алиса шла, придерживая подол, и мысленно прощалась с башмаками. Башмаки, судя по всему, были единственные. Возможно, у прежней Алисы где-то в сундучке хранилась вторая пара, но в сундучке, который она перебрала вчера вечером при свете уголька, нашлись только две смены белья, шерстяная шаль, молитвенник с гербом Пламени, маленький гребень, мешочек с тремя медными монетками и бархатная коробочка, а в ней — пара серёжек с гранатами. Мамины. Воспоминание об этом всплыло само, горьковатое и тёплое.

Матильда шла впереди. Она привыкла к этой грязи с рождения и ступала легко, выбирая кочки и камни с ловкостью горной козы, то и дело оборачиваясь, чтобы подать Алисе руку.

— Осторожно, госпожа, тут яма. Сюда, на камушек. Ох, нет, не на этот, этот шатается...

Алиса наступила на тот, что шатался. Камушек ушёл в грязь, Алиса чуть не ушла следом, и Матильда вцепилась ей в локоть с силой, неожиданной для таких тонких рук.

— Спасибо, — выдохнула Алиса. — Слушай, Тильда, а почему вы тут не мостите дорогу? Хотя бы досками? Хотя бы хворостом?

Матильда посмотрела на неё с искренним удивлением.

— Так господин Хольт не велит лес рубить, госпожа. Лес герцогский. За каждое дерево — штраф. А хворост... хворост на топку идёт. Его зимой и так не хватает.

Алиса вспомнила слова Хольта: «Лес продавать нельзя — его светлость запретил». И вспомнила, как утром из окна мансарды видела на дальнем склоне за озером длинную свежую вырубку — светлую, как шрам на тёмной шкуре леса.

Она промолчала. Но запомнила.

Деревня открылась за поворотом, и Алиса остановилась.

Издали, с холма, она казалась просто кучкой тёмных домиков у воды — живописной, почти сказочной, как на картинках в детских книжках. Вблизи сказка кончилась.

Избы были низкие, вросшие в землю почти по окна, сложенные из почерневших брёвен, щели в которых затыкали мхом. Крыши — дерновые, поросшие прошлогодней травой. Труб не было. Совсем. Дым выходил через узкие дыры под стрехой и стелился над крышами сизой пеленой, такой густой, что над деревней висело постоянное серое облако. Окна — крошечные, затянутые бычьим пузырём или просто заткнутые тряпками. Двери — низкие, чтобы входить, согнувшись в три погибели, и не выпускать тепло.

У каждого дома была куча навоза, и эти кучи растекались по весне бурыми ручьями. Между домами бродили свиньи — тощие, щетинистые, с длинными рылами — и копались в этих ручьях. Куры. Собаки, тощие, как скелеты, обтянутые шкурой. И дети.

Детей было много. Они высыпали из домов, едва завидев чужую, и встали стайкой у ближайшей кучи, разглядывая Алису огромными глазами. Им было от трёх до десяти лет. Босые — все, несмотря на холод и грязь. В рубахах из грубого серого холста, рваных, грязных, явно перешитых со старших. Лица — бледные, с синевой под глазами, с коростой в углах рта. Животы у младших — непропорционально большие, вздутые, при тонких ручках и ножках.

Алиса знала, что это значит. Бабушка рассказывала про голодные годы. Она сама видела фотографии в учебнике истории.

Маленький мальчик лет четырёх, стоявший впереди, вдруг закашлялся — надсадно, глухо, с бульканьем в груди, — и кашлял долго, согнувшись, а остальные смотрели на это без

всякого интереса, как на привычное. Когда он выпрямился, Алиса увидела у него на руке, от запястья до локтя, мокнущую красную язву.

— Тильда, — сказала она тихо. — Что у него с рукой?

— Короста, госпожа, — Матильда пожала плечами. — У всех бывает. Весной особенно. Зимой-то в избе сидят, все вместе, со скотиной, вот она и цепляется. Мать моя говорит — от сглаза. Поп говорит — от грехов. Бабка Ульна говорит — надо мочой мазать, тогда сходит.

— Мочой, — повторила Алиса.

— Ну да. Своей. — Матильда снова пожала плечами. — Иногда сходит. Иногда нет.

Алиса закрыла глаза. Открыла.

— Хорошо, — сказала она. — Веди к матери.

* * *

Дом Марты Брам стоял на самом краю деревни, у ручья, и был чуть почище и чуть просторнее остальных. Наверное, потому что прачке, которая обстирывает полдеревни и господский дом, полагалось хоть немного больше места. У дома был навес, под навесом — огромная деревянная колода-корыто, а над корытом поднимался густой пар, пахнущий щёлоком и мокрым бельём.

Марта стояла у корыта и тёрла простыню о ребристую доску. Это была худая, жилистая женщина лет сорока на вид — а на самом деле, как потом узнала Алиса, тридцати трёх. Лицо красное от пара, губы обветренные, светлые, как у дочери, волосы прилипли ко лбу. Руки до локтей были такие красные и растрескавшиеся, что казались обваренными. Алиса посмотрела на эти руки и почувствовала, как её собственные — то есть чужие, тонкие — непроизвольно сжались в кулаки.

Щёлок. Она чуяла его запах с порога — резкий, едкий, мыльный. Настой древесной золы. Самое древнее моющее средство на свете. Им стирали ещё в Древнем Египте. Им стирала бабушкина бабушка. И им же, если не знать меры, можно было сжечь кожу до мяса.

— Мама, — позвала Матильда. — Мама, это госпожа. Леди Лейн. Та, что приехала.

Марта обернулась, увидела Алису — и замерла с простынёй в руках. На её лице мелькнула целая буря: удивление, испуг, а потом — злость. Чистая, отчаянная, усталая злость человека, у которого нет сил ни на что, кроме злости.

— Тильда! — Она уронила простыню в корыто и шагнула к дочери. — Ты что, дура, господ сюда водишь? Да тебя Хольтиха за это... Ой. — Она увидела щёку дочери, где ещё алел след вчерашней пощёчины, и голос у неё сорвался. — Опять? Опять она?

— Мама, всё хорошо, — торопливо сказала Матильда. — Госпожа заступилась. Правда. Она Хольтихе так сказала, что та прут опустила. Я никогда не видела, чтобы Хольтиха прут опускала.

Марта медленно перевела взгляд на Алису. Злость в её глазах сменилась чем-то другим — недоверием, настороженностью, но уже без враждебности.

— Заступилась, — повторила она. — За служанку. Это зачем же?

— Потому что бить людей нельзя, — просто сказала Алиса.

Марта посмотрела на неё так, словно Алиса сказала, что снег бывает зелёным.

— Это у вас там, в столицах, так заведено? — спросила она наконец, и в голосе прозвучала горькая насмешка.

— Нет, — честно ответила Алиса. — В столицах тоже бьют. Но это не значит, что так правильно.

Марта открыла рот, чтобы ответить, — и тут из дома донёсся плач. Тонкий, слабый, жалобный, похожий на мяуканье больного котёнка. Марта мгновенно повернулась, бросила всё и метнулась в низкую дверь.

Алиса, поколебавшись секунду, нырнула следом.

Внутри было темно и дымно. Глаза сразу заслезились. Посреди избы — глинобитная печь без трубы, в ней тлели угли, и дым поднимался к потолку, где копился густой чёрной тучей, медленно выползая через дыру под стрехой. Стены и потолок были чёрные, лоснящиеся от сажи. Пол — земляной, утоптанный, сырой. Вдоль стен — лавки, на лавках — какие-то тряпки, овчины, мешки. В углу, за перегородкой, топталась и вздыхала коза.

На лавке у печи, под ворохом тряпья, лежал мальчик. Маленький, лет шести. Белобрысый, как сестра и мать. Худой — даже под тряпками это было видно. Лицо пылало, губы потрескались, глаза были полуприкрыты и блестели нехорошим, стеклянным блеском. Он тихо скулил и дёргал ногами.

Рядом с ним на краю лавки сидела девочка постарше, лет девяти, и держала его за руку. Увидев чужую госпожу, она испуганно вскочила.

— Пим, — Марта опустилась на колени перед лавкой. — Пим, сыночек, мама здесь. Ганна, ты давала ему пить?

— Давала, мама, — прошептала девочка. — Он попил, а потом его снова... снова того... пронесло. Я замыла.

Марта кивнула, не оборачиваясь, и прижалась губами к горячему лбу сына.

— Третий день, — сказала она глухо, ни к кому не обращаясь. — Третий день так. Сначала живот. Потом жар. Не ест ничего. Пьёт — и всё обратно выходит. Бабка Ульна заговаривала, не помогло. Брат Ансельм молился, не помогло. У Кнопфов младшенький так же начинал, на прошлой неделе. Сегодня хоронят.

Голос её не дрогнул. Это было страшнее, чем если бы дрогнул.

Алиса стояла в дымной темноте, и в голове у неё щёлкало, как счётчик. Понос. Жар. Обезвоживание. Дети. Весна. Дети, которые пьют...

— Марта, — сказала она. — Откуда вы берёте воду? Для питья?

Марта подняла на неё непонимающие глаза.

— Из ручья. Откуда ж ещё. Вон он, у дома.

Алиса вышла наружу. Посмотрела на ручей.

Ручей был небольшой, быстрый, мутноватый — он сбегал с холма, огибал деревню и впадал в озеро. И пока он огибал деревню, он принимал в себя всё. Ручейки от навозных куч. Помои, которые выплёскивали прямо с порогов. В двадцати шагах выше по течению, у соседнего дома, Алиса увидела дощатую будку над самой водой, назначение которой не вызывало ни малейших сомнений. А ещё выше — то самое корыто Марты, из которого как раз в этот момент по жёлобу стекала в ручей мутная мыльная вода с хлопьями грязи.

Она смотрела на всё это долго. Потом сказала, очень тихо, сама себе:

— Господи. Это же учебник. Это же просто учебник санитарии, глава первая. Холера, дизентерия, брюшной тиф. Выбирай любое.

* * *

Часовня стояла на пригорке за деревней — маленькая, каменная, с островерхой крышей, на которой вместо креста торчал железный язык пламени, позеленевший от времени. Вокруг часовни было кладбище. Маленькое. Слишком много маленьких холмиков на нём было.

Алиса пришла туда, потому что не могла не прийти.

Хоронили младшего Кнопфа. Ему было два года. Маленький гробик — нет, даже не гробик, просто ящик, сколоченный из старых досок, — стоял на краю свежей ямы. Вокруг толпились люди — человек двадцать, вся деревня. Мать ребёнка не плакала — просто стояла, держась за мужа, и смотрела в яму пустыми глазами. Отец, рыжий бородатый мужик с огромными руками, мял в ладонях шапку и кусал губы.

Перед ямой стоял священник.

Он был немолод — лет пятидесяти, может, больше. Худой, сутулый, в поношенной тёмно-красной рясе, цвет которой когда-то, наверное, был цветом пламени, а теперь стал

цветом засохшей крови. Лицо длинное, усталое, изрезанное глубокими морщинами. Волосы седые, редкие. Глаза — серые, добрые и бесконечно утомлённые, как у человека, который слишком много раз стоял над маленькими ямами.

— Пламя даёт, — говорил он негромким, надтреснутым голосом, — и Пламя забирает. Мы не ведаем его замыслов. Мы лишь угли в его очаге, и каждому углю отмерено своё время гореть. Этот уголёк горел недолго. Но он горел. И теперь вернулся в Великий Огонь, откуда пришёл. Да будет на то воля Пламени.

— Да будет воля Пламени, — нестройно отозвалась толпа.

Священник взял горсть земли и бросил на ящик. Земля глухо стукнула о доски.

Алиса стояла в стороне, у кладбищенской ограды, и сжимала руками холодные прутья. Внутри у неё всё кипело. Воля Пламени. Конечно. Воля Пламени — пить воду из ручья, в который справляет нужду вся деревня. Воля Пламени — мазать язвы мочой. Воля Пламени — хоронить двухлеток каждую весну.

Когда люди начали расходиться, священник задержался у могилы. Он стоял, склонив голову, и Алисе показалось, что он молится. Потом он поднял голову, обернулся и увидел её.

— Вы новенькая, — сказал он, подходя. — Подопечная его светлости. Леди Лейн, верно? Я брат Ансельм. Служу здесь, в Порогах. Двадцать шесть лет уже.

— Здравствуйте, брат Ансельм, — сказала Алиса.

— Не лучшее место для первой встречи, — он кивнул на свежую могилу. — Простите. Весной у нас всегда так. Весна — время скорби.

— Почему? — спросила Алиса. Вопрос вырвался сам, прежде чем она успела его остановить.

Брат Ансельм посмотрел на неё с лёгким удивлением.

— Почему весна — время скорби? Так испокон веку. Зимой люди слабеют, весной приходят лихорадки. Так заведено. Таков порядок, установленный Пламенем.

— А если это не Пламя? — Алиса сама не узнала свой голос: в нём звенела злость, которую она не успела спрятать. — Если это вода? Если дети умирают, потому что пьют из ручья, куда сливают нечистоты? Если бы воду кипятили, если бы мыли руки...

Брат Ансельм смотрел на неё долго и внимательно. В его серых глазах не было ни гнева, ни насмешки. Только безмерная усталость и что-то похожее на сочувствие.

— Вы молоды, леди Лейн, — мягко сказал он. — И у вас доброе сердце. Это хорошо. Но вы думаете, что смерть можно объяснить, как сломанное колесо. Что найдёшь трещину — и починишь. Я тоже так думал, когда был молод. Я двадцать шесть лет хороню детей. Я пробовал травы, пробовал молитвы, пробовал всё, что знали наши отцы. Если бы чистая вода спасала от смерти, разве Пламя не открыло бы нам это давным-давно?

Алиса открыла рот — и закрыла его.

Потому что вдруг поняла: что бы она сейчас ни сказала, это прозвучит как бред. Бактерии. Микробы. Дизентерийная палочка. Фекально-оральный путь передачи. Она стояла на кладбище в мире, где не знают ни микроскопа, ни слова «гигиена», и собиралась читать лекцию по эпидемиологии священнику, который только что похоронил ребёнка.

Она сглотнула злость. Это было трудно — злость застряла в горле колючим комом.

— Простите, брат Ансельм, — сказала она тихо. — Я не хотела... Я не имела права.

— Вам не за что извиняться, — он слабо улыбнулся. — Вы задали вопрос. Вопросы — это не грех. Грех — перестать их задавать. — Он помолчал. — Приходите как-нибудь в часовню, леди Лейн. Не на службу — просто поговорить. Здесь мало с кем можно поговорить о чём-то, кроме урожая и погоды.

Он поклонился и пошёл вниз по склону, сутулясь и чуть приволакивая ногу.

Алиса смотрела ему вслед, и злость медленно уходила, уступая место чему-то другому. Решимости. Холодной, ясной, твёрдой.

Не надо читать лекции, подумала она. Лекциям здесь никто не поверит. Надо показать.

* * *

Когда она вернулась к дому Марты, уже вечерело. Над озером поднимался туман, в деревне загорались редкие огоньки лучин. Марта всё так же сидела у лавки, на которой метался в жару Пим. Матильда разжигала очаг. Ганна баюкала на коленях тряпичную куклу и смотрела в пустоту.

— Марта, — сказала Алиса с порога. — Мне нужен котелок. Чистый. И вода. Из колодца, если в деревне есть колодец, а не из ручья.

— Колодец у старосты, — растерянно ответила Марта. — Там вода хорошая, говорят. Только далеко, на том конце.

— Тильда, сбегаешь?

Матильда, не задавая вопросов, схватила деревянное ведро и выскочила за дверь.

— Что вы хотите делать, госпожа? — Марта поднялась с колен, и в её голосе снова зазвенела настороженность. — Если вы лекарка, так и скажите. А если пришли поглазеть...

— Я не лекарка, — сказала Алиса. — Но кое-что знаю. Ваш сын теряет воду. Понимаете? Всё, что он пьёт, выходит из него, и ещё больше. Он высыхает изнутри, как цветок без полива. От этого и жар, и слабость. Ему надо пить. Много, понемногу, всё время. Но не сырую воду из ручья — от неё ему и стало плохо. Воду надо прокипятить. Потом остудить. Добавить чуть-чуть соли и чуть-чуть мёда, если есть. И поить с ложечки. Каждые несколько минут. Всю ночь.

Это был регидратационный раствор — простейший, на коленке, которым её саму когда-то отпаивали в детстве, когда она отравилась пирожком на вокзале. Бабушка тогда сидела у её кровати всю ночь с ложкой и банкой.

Марта смотрела на неё с сомнением. Но в её глазах, где-то в глубине, затеплилось что-то похожее на надежду — ту отчаянную надежду, которая хватается за любую соломинку.

— Мёда нет, — сказала она наконец. — Есть сушёная малина. И соль есть, немного.

— Малина пойдёт.

Матильда вернулась, запыхавшаяся, с полным ведром. Алиса нашла на полке закопчённый глиняный горшок, вымыла его тщательно — песком и золой, потому что больше было нечем, — налила воды и поставила в угли.

А потом она сделала то, что сделала бы любая женщина, которая привыкла не ждать, пока закипит, а торопить, — нетерпеливо обхватила горшок ладонями, словно хотела согреть его своими руками.

И горшок стал тёплым.

Не от углей — угли только-только начали его прихватывать снизу. Он стал тёплым там, где его касались её ладони. Тепло было мягким, ровным, едва заметным — как от чашки с чаем. Оно шло откуда-то изнутри неё, из груди, по рукам, в пальцы и дальше, в глину, в воду. По рукам побежали мурашки, лёгкое покалывание, какое бывает, если отсидишь ногу. В висках тихо зазвенело.

Алиса отдёрнула руки и уставилась на них.

Вода в горшке парила. Не кипела — до кипения было далеко, — но парила, явно и ощутимо, куда сильнее, чем полагалось воде, которая стояла на углях от силы минуту.

— Госпожа, — тихо сказала Матильда у неё за спиной, — у вас бытовой дар. Как у меня.

Алиса медленно обернулась.

— Как у тебя?

— Ну да. — Матильда смутилась, словно признавалась в чём-то неприличном. — Я тоже так умею. Чуть-чуть. Воду погреть, утюг подержать подольше горячим. Мама говорит — у нас в роду это по женской линии. Хольтиха говорит — баловство. А господа говорят — кухонная искра. Говорят, это ничего не стоит.

«Ничего не стоит», — повторила про себя Алиса. Она снова положила ладони на горшок — теперь уже осторожно, прислушиваясь к себе. Тепло пришло снова. Покорно, послушно, как собака на зов. Тонкая ниточка, которую можно было то натянуть, то отпустить.

Тепло. Контроль температуры.

Она стояла посреди курной избы, в дыму, в полумраке, рядом с больным ребёнком, и в голове у неё медленно, кусочек за кусочком, начинала складываться картина. Пока ещё смутная, неясная, как изображение на старой фотографии в проявителе. Но уже — картина.

Вода закипела. Алиса прокипятила её столько, сколько учили — долго, основательно. Остудила. Бросила щепоть соли, горсть сушёной малины. Потом села у лавки, взяла деревянную ложку и начала поить Пима. По ложечке. Медленно. Терпеливо. Мальчик сначала отворачивался, потом глотнул, потом ещё.

— Каждые несколько минут, — сказала она Марте. — Всю ночь. Не давайте ему воду из ручья. Вообще больше никому не давайте воду из ручья. Только колодезную, только кипячёную. И руки — руки мойте. Каждый раз, когда убираете за ним. Каждый раз, перед тем как трогать еду.

— Чем мыть? — спросила Марта. — Щёлоком? Он же руки ест.

— А мыло у вас есть?

Марта переглянулась с дочерью.

— Мыло, — медленно повторила она, как незнакомое слово. — Мыло у господ бывает. Заморское. Мне один раз кусочек достался, от старой герцогини, когда я её бельё стирала. Как сейчас помню — пахло розами. Я его три года берегла. Только на праздники доставала.

Три года, подумала Алиса. Кусок мыла — на три года. Как драгоценность.

Она посмотрела на красные растрескавшиеся руки Марты. На корыто под навесом, над которым поднимался пар щёлока. На золу в очаге. Вспомнила, как утром на кухне поместья видела в углу огромную бочку с вытопленным салом — желтоватым, застывшим, — и как кухарка черпала оттуда, чтобы мазать сковороды.

Зола. Сало. Вода. Тепло.

Больше ничего и не нужно.

Пим заснул далеко за полночь — впервые за три дня спокойно, без стонов, без метаний. Жар не спал, но и не поднялся. Марта сидела рядом, держа его за руку, и смотрела на Алису странным долгим взглядом.

— Вы кто такая, госпожа? — спросила она шёпотом. — Вы ведь не простая.

Алиса подумала. Улыбнулась уголками губ.

— Я мыловар, Марта, — сказала она. — Просто мыловар.

Она вышла из избы на холодный ночной воздух. Над озером висела огромная бледная луна, и туман стелился над водой, как молоко. Где-то выла собака. Наверху, на холме, чернел силуэт мёртвого дома, где ни в одном окне не горел свет.

Алиса посмотрела на свои ладони — тонкие, чужие, с мурашками до сих пор бегущими по коже. Сжала их в кулаки.

— Нам нужно мыло, — сказала она вслух. — Много мыла.

Луна, кажется, была не против.

Глава 4. Зола, жир и упрямство

Пим выжил.

Матильда принесла эту новость рано утром — взлетела по лестнице в мансарду, запыхавшаяся, растрёпанная, с горящими глазами, и забарабанила в дверь так, что Алиса, едва разлепившая глаза, решила, что в доме пожар.

— Госпожа! Госпожа, он есть попросил! Пим! Мама говорит — жар спал под утро, а он проснулся и говорит: «Мам, хочу кашу». Кашу, госпожа! Три дня ничего не ел, а тут — кашу!

Алиса сидела на кровати, завернувшись в колючий плащ, и смотрела на Матильду, и у неё вдруг защипало в носу так сильно, что пришлось сделать вид, будто она чихает.

— Каши — немного, — сказала она хрипло. — Жидкой. На воде. Кипячёной. И продолжать поить.

— Мама так и делает! Она всю ночь не спала, всё ложкой, ложкой... — Матильда вдруг осеклась, покраснела и выпалила: — Госпожа, мама велела передать, что если вам что-нибудь надо — что угодно, — вы только скажите.

— Скажу, — пообещала Алиса. — Ещё как скажу. Мне, Тильда, много чего надо.

Она встала, подошла к бумажному окну и отогнула край, впуская в комнату холодный утренний свет.

— Ну что, — сказала она. — Начинаем инвентаризацию.

Матильда не знала этого слова. Но кивнула с такой готовностью, словно ей предложили участвовать в рыцарском походе.

Инвентаризация заняла всё утро и привела к неутешительным результатам.

Золы было сколько угодно — это была, пожалуй, единственная вещь, которой в Грантхольме был избыток. Её выгребали из всех печей, из очага в людской, из кухонной плиты и сваливали в огромную кучу за конюшней, где она лежала годами, слёживаясь и намокая под дождями. Алиса покопалась в куче палкой и выбрала верхний слой — сухой, светлый, от берёзовых и дубовых дров. Лиственные породы, вспомнила она институтский курс. Лиственная зола богаче калием. Хвойная хуже. Бабушка тоже всегда говорила: «Для щёлока — только берёза, Алечка. Ёлка — для бани».

Вода была. Колодец во дворе, хоть и с покосившимся воротом, давал воду чистую и холодную — Алиса проверила, глотнула, подержала во рту. Без запаха, без привкуса. Хорошая вода.

Посуда — это было сложнее. Для варки мыла нужен большой котёл, и желательно не медный, не оловянный и не алюминиевый (последнего тут, к счастью, не водилось) — щёлочь всё это разъедает. Нужен чугун. Или хорошая глиняная посуда с толстыми стенками. Или, на худой конец, железо.

А главное — нужен был жир.

Вот с жиром и случилась загвоздка.

Жир в поместье был. Алиса видела его своими глазами — огромную дубовую бочку в кладовой при кухне, полную вытопленного говяжьего сала, желтоватого, твёрдого, восхитительного. Бочка стояла в углу, на ней лежала деревянная крышка, а на крышке — тяжёлый замок. Ключ от замка, как и от всего остального в этом доме, висел на поясе у фру Хольт.

Алиса пошла к фру Хольт.

Экономка сидела в маленькой комнатке рядом с кладовой — своём кабинете — и что-то писала в толстой тетради. Когда Алиса вошла, она не подняла головы.

— Фру Хольт, — сказала Алиса как можно вежливее, — мне нужно немного сала. Из бочки в кладовой. Несколько фунтов.

Перо продолжало скрипеть.

— Зачем? — спросила фру Хольт, не поднимая глаз.

— Для... хозяйственных нужд.

— Каких именно?

Алиса поколебалась. Говорить правду? «Я буду варить мыло, потому что в деревне дети умирают от грязи»? Почему-то ей казалось, что это не тот аргумент, который тронет фру Хольт.

— Для лечения, — сказала она. — Мази. Для деревенских. У них язвы на руках, у детей короста. Нужна основа для мази.

Перо остановилось. Фру Хольт медленно подняла голову и посмотрела на Алису. Долго. Без всякого выражения.

— Сало, — сказала она, — хозяйское имущество. Учтено. Взвешено. Записано. Расходуется на нужды кухни и на свечи для конторы. Каждый фунт. Если я выдам вам сало, мне придётся записать расход. Господин Хольт спросит, на что. И я скажу — на мази для деревенских. И господин Хольт спросит, кто разрешил. И я скажу — никто. Потому что никто не разрешал.

— Тогда разрешите вы, — сказала Алиса.

Фру Хольт улыбнулась. Это была первая улыбка, которую Алиса увидела на её лице, и лучше бы её не было — так улыбается кошка, которая уже знает, что мышь никуда не денется.

— Нет, — сказала фру Хольт и вернулась к своей тетради.

Алиса постояла ещё минуту. Потом повернулась и вышла.

В коридоре она остановилась, прижалась спиной к холодной стене и сделала глубокий вдох. Злость кипела, как молоко на плите, — вот-вот убежит. Она медленно выдохнула. Ещё раз. И ещё.

Ладно. Нельзя через дверь — полезем в окно.

* * *

Окном оказался староста Бодо.

Он жил в самом большом доме Нижних Порогов — единственном, у которого была настоящая каменная труба, и Алиса, увидев эту трубу, сразу поняла, кто в деревне главный. Бодо был немолодой, грузный мужик с хитрыми глазками, утонувшими в пухлых щеках, и окладистой бородой, в которой застряли крошки. Его жена Фрида — маленькая, круглая, быстрая, как мышь, — оказалась главнее мужа: Алиса поняла это через минуту разговора, когда Бодо на каждый её вопрос поворачивался к жене и вопросительно поднимал брови.

Свиной жир у них был. Топлёный, белый, хороший, в двух больших глиняных горшках — запас с зимнего забоя. Ещё было немного говяжьего нутряного. Продавать они не хотели.

— Это ж на всё лето, барышня, — Фрида качала головой, и чепец на её голове качался вместе с ней. — Сами понимаете. Хозяйство. Детки. Без жира-то как?

— Я заплачу, — сказала Алиса.

— Чем? — с искренним любопытством спросила Фрида и окинула выразительным взглядом заштопанное платье Алисы и её грязные башмаки.

Алиса помедлила.

Потом достала из кармана бархатную коробочку и открыла её.

Серьги лежали на выцветшем бархате, как две капли тёмного вина. Гранаты — небольшие, но чистые, густого вишнёвого цвета, в простой серебряной оправе. Алиса посмотрела на них — и в голове снова, непрошено, вспыхнуло чужое воспоминание: женщина в кружевном чепце наклоняется к девочке, и в её ушах покачиваются эти самые серьги. «Когда вырастешь, Лисёнок, будут твои».

Глаза у Фриды вспыхнули так, что, кажется, осветили всю горницу.

— Ох, — выдохнула она и протянула пухлые пальчики. — Ох, барышня...

— Два горшка свиного жира, — сказала Алиса. — Всё нутряное сало. И ваш большой чугунный котёл — на время. Я видела его у вас во дворе.

— Котёл? — Бодо, который до этого молчал, вдруг ожил. — Котёл — это ж наш, мы в нём бельё кипятим и свиней шпарим. Котёл никак...

— Бодо, — сказала Фрида таким голосом, что Бодо мгновенно замолчал. Она повернулась к Алисе и расплылась в улыбке: — Котёл — конечно, барышня. Берите, берите. И жир — весь. И ещё мешок соли в придачу, у нас есть, хорошая, крупная.

Сделка состоялась. Матильда, которая всё это время стояла за спиной Алисы, тихонько охнула.

Уже на улице, когда они тащили по грязи тяжеленный котёл — вдвоём, обливаясь потом, — она не выдержала:

— Госпожа! Да вы что! Да за эти серьги можно было корову купить! Две коровы! А вы — за сало! Фрида же вас... она ж вас надула, как... как...

— Как младенца, — согласилась Алиса, пыхтя. — Я знаю, Тильда.

— Знаете?! — Матильда чуть не уронила свою сторону котла. — Так зачем же...

Алиса остановилась, поставила котёл в грязь и выпрямилась, растирая поясницу. Посмотрела на холм, где чернел дом. Потом — на деревню, где из щелей под стрехами сочился дым.

— Затем, что корова мне сейчас не нужна, — сказала она. — Мне нужен жир. Сегодня. А не через месяц, когда я найду честного продавца. Пока я буду торговаться, Тильда, кто-нибудь ещё заболеет. Серьги — это просто вещь. Красивая, памятная — но вещь. Мама, — она запнулась на этом слове, но продолжила, — мама бы поняла.

Матильда смотрела на неё с открытым ртом. Потом медленно закрыла рот. И взялась за свою сторону котла.

— Всё равно надула, — пробормотала она упрямо.

— Надула, — согласилась Алиса. — Первая сделка. Первая переплата. Запомним и в следующий раз будем умнее.

Она не знала тогда, что где-то в тёмном углу под крышей старого дома кто-то уже записал эту сделку в свою невидимую книгу — красными чернилами и с тремя восклицательными знаками.

* * *

Варить щёлок решили за конюшней — подальше от глаз фру Хольт и поближе к куче золы.

Алиса соорудила то, что бабушка называла «щелочницей»: старую деревянную кадушку с дыркой в днище, найденную в сарае. На дно — слой соломы, на солому — колотые камни, на камни — золу, плотно, слоями. Сверху лить горячую воду. Вода, проходя сквозь золу, забирает из неё всё, что нужно, и стекает через дырку в подставленный горшок — бурая, маслянистая на ощупь, едкая, с особым резким запахом, от которого щиплет в носу.

— Щёлок, — сказала Матильда, принюхиваясь. — Мама такой делает. Для стирки.

— Мама молодец, — сказала Алиса. — А нам нужен покрепче. Для стирки — слабый, а для мыла — крепкий.

— А как узнать, крепкий или нет?

— Бабушка проверяла яйцом, — машинально ответила Алиса — и тут же прикусила язык. — Ну... моя няня. Если яйцо всплывает и выставляет над водой кружок с монетку — значит, щёлок готов. Если тонет — слабый. Если выскакивает целиком — слишком крепкий.

Яиц не было. В поместье, видимо, были, но под замком у фру Хольт, а у Марты курица неслась через день, и это яйцо было для Пима.

— Ладно, — сказала Алиса. — Тогда есть другой способ. Перо. Если опустить перо в крепкий щёлок, он его растворяет.

Перо нашлось — у Матильды в кармане, гусиное, которым она подметала пыль с подоконников.

Алиса опустила перо в бурую жидкость. Подождала. Перо намокло и отяжелело, но не растворилось.

— Слабо, — сказала она. — Надо уварить.

Это была её ошибка. Первая — и, как она потом признавалась себе, самая глупая.

На производстве всё было иначе. На производстве была готовая щёлочь — едкий натр в гранулах, белых, как сахар, — которую взвешивали на точных весах до десятой доли грамма. Была таблица омыления, где для каждого масла указано, сколько щёлочи нужно на килограмм. Были резиновые перчатки, защитные очки, респиратор и вытяжка. Был термометр. Была дистиллированная вода.

Здесь была зола, кадушка и гусиное перо.

Они поставили горшок со щёлоком на огонь — уваривать. Алиса стояла над ним, нетерпеливо помешивая палкой, и бурая жидкость медленно густела, темнела, становилась маслянистой. Она снова опустила перо. Перо потемнело, обмякло, пошло пятнами, начало расползаться.

— Готово! — обрадовалась Алиса. — Тильда, давай снимем...

Она ухватилась за горшок тряпкой. Тряпка оказалась тонкой. Горшок — горячим. Алиса дёрнула руки — горшок качнулся — и густая бурая жидкость, щедрым горячим языком, выплеснулась через край. Прямо ей на левую руку. И на запястье Матильды, которая метнулась помочь.

Первую секунду не было ничего. Просто тепло и влажность. Вторую секунду — тоже ничего, только странная скользкость на коже, словно руку намазали мылом. А на третью пришла боль.

Не жгучая, как от огня, — другая. Глубокая, въедливая, тянущая, словно кожу медленно растворяли изнутри. Это и было то, что происходило. Щёлочь не обжигает — она разъедает. Она превращает жир твоей собственной кожи в мыло.

Матильда вскрикнула. Алиса стиснула зубы.

— Воду! — закричала она. — Тильда, воду, быстро! Руки — в ведро! Не три! Не три, держи в воде!

Они сунули руки в ведро с холодной колодезной водой — по самые локти. Держали долго. Алиса считала про себя — до ста, потом снова до ста, потом ещё. Потом заставила Матильду промыть руки ещё раз, свежей водой. Потом побежала на кухню, мимо изумлённой кухарки, схватила с полки кувшин с уксусом — кислым, пахучим, яблочным — и, вернувшись, полила им обожжённую кожу. Уксус нейтрализовал остатки щёлочи. Тоже бабушкина наука. Тоже институтская химия.

Боль медленно отступала. На коже остались красные пятна, местами вздувшиеся пузырями. Не смертельно. Но и не весело.

А горшок, их единственный хороший глиняный горшок, — тот самый, взятый у Марты, — лежал на боку у костра. Он треснул от жара и щёлочи, и из трещины медленно сочилась на землю бурая жижа, выжигая в прошлогодней траве чёрное пятно.

Матильда смотрела на свои красные руки и тихонько всхлипывала. Не от боли — от обиды.

— Я же говорила, — прошептала она. — Хольтиха всегда говорит... что у меня всё из рук валится. Что я безрукая...

— Тильда.

Алиса опустилась на корточки рядом с ней и взяла её за здоровую руку.

— Послушай меня. Это не ты. Это я. Это моя ошибка. Я поторопилась, я уварила слишком крепко, я взяла плохую тряпку, я не подумала. Я — старшая, и я отвечаю. Ты всё сделала правильно. Ты метнулась помочь. За это не ругают.

Матильда шмыгнула носом.

— Правда?

— Правда. А знаешь, что самое главное? — Алиса улыбнулась, хотя рука болела отчаянно. — Теперь мы точно знаем, как не надо делать. Это тоже знание. Очень дорогое, но знание. Завтра сделаем по-другому.

— Завтра? — Матильда посмотрела на неё с ужасом. — Госпожа, вы хотите... снова?

— А как же, — сказала Алиса. — Мы ж не сдаёмся.

* * *

Ночью жир надо было спрятать.

Это стало ясно ещё днём, когда Йорн, проходя мимо конюшни, остановился, оглядел их костёр, котёл и горшки с жиром и сказал с ухмылкой:

— Колдуете, барышня? Ну-ну. Фру Хольт обрадуется.

Поэтому вечером, когда стемнело, Алиса и Матильда перетаскали оба горшка с жиром и узелок с нутряным салом наверх, в мансарду. Это было непросто — горшки были тяжёлые, а лестница узкая и крутая. Зато в мансарде их никто не стал бы искать. Кому нужна мансарда пустышки?

Алиса поставила горшки под кровать, накрыла их старой шалью и легла. Руку жгло. Кожа на запястье стянулась и горела. Сон не шёл.

Она лежала в темноте, слушала, как капает вода в ведро, и думала.

Думала о том, что у неё нет ни весов, ни таблиц, ни термометра. О том, что щёлок из золы — это не едкий натр, а поташ, карбонат калия, и мыло из него получится мягкое, жидкое, как у бабушки, а не твёрдое, как в магазине. Что для твёрдого мыла нужна соль — значит, придётся высаливать. Что нужен другой горшок. Что нужно учесть...

Шорох.

Алиса замерла.

Знакомый шорох. Тихий, деловитый, осторожный. Скрип половицы. Ещё один. И — едва слышный звук, похожий на то, как кто-то маленький старательно и с трудом тянет что-то тяжёлое.

Шаль под кроватью шевельнулась.

Алиса медленно, очень медленно, стараясь не скрипнуть соломой, перевернулась на бок. Свесила руку. И когда шорох раздался прямо под ней — резко, не давая себе времени испугаться, — схватила.

Пальцы сомкнулись на чём-то тёплом, мягком и неожиданно большом — как лопух, как широкий шерстяной лист. И это что-то пронзительно взвизгнуло.

— Ай! Ай-ай-ай! Пусти! Пусти, ухо оторвёшь! Ухо! Это моё ухо!

Голос был тонкий, скрипучий, возмущённый — точь-в-точь как скрип рассохшейся половицы, если бы половица умела ругаться.

— Не пущу, — сказала Алиса, садясь на кровати и не разжимая пальцев. — Свечку вернёшь — подумаю.

— Нету свечки! Съел я свечку! — завопил голос. — Давно съел! Пусти, говорю! Я не крыса! Я не крыса, чтоб меня за уши таскать!

— А кто ты?

В темноте снова вспыхнули два круглых жёлтых глаза — совсем близко, на уровне её колена. Алиса пригляделась.

Существо было размером с крупную кошку. Тощее, нескладное, с длинными тонкими ручками и ножками, похожими на веточки. Голова — непропорционально большая, круглая, с огромными, как лопухи, ушами. Одно из этих ушей Алиса и держала. Кожа — если это была кожа — серая, сероватая, почти прозрачная. Сквозь неё, кажется, смутно просвечивали половицы. Нос — длинный, острый, подвижный. Рот — широкий, сейчас искривлённый от возмущения. Одежда — если это можно было назвать одеждой — какая-то латаная-перелатаная

жилетка из лоскутков. Существо прижимало к груди длинными цепкими пальцами кусок нутряного сала — большой, почти с его голову, — и не выпускало его, даже вися на собственном ухе.

— Кто я? — переспросило существо. — Кто я?! Да ты... Да вы... Да как вы смеете! Я — Клом! Кладовик этого дома! Хранитель кладовых, погребов, амбаров и прочего хозяйства! Восемьдесят лет! Восемьдесят лет я тут служу! Ещё прадед нынешнего герцога меня кашей кормил!

— Кладовик, — повторила Алиса. — Домовой дух?

— Кладовик! — с негодованием поправило существо. — Домовые — это деревенщина, они печку стерегут и лапти плетут. А кладовики — это учёт! Счёт! Хранение! — Клом вдруг сник, и уши его — даже то, которое держала Алиса, — печально обвисли. — Было хранение. Было, когда был дом. Когда хозяйка была. Когда порядок был. А теперь...

Он замолчал. Его тонкие пальцы ещё крепче вцепились в кусок сала.

Алиса смотрела на него — на эти просвечивающие руки, на тощие плечи, на запавшие бока — и вдруг поняла.

— Ты голодный, — сказала она тихо.

Клом дёрнулся, будто его ударили.

— Я не голодный! — Голос у него сорвался на писк. — Кладовики не бывают голодными! Мы... мы... — Он сглотнул. Уши задрожали. — Мы бывают выцветшими. Когда дом умирает. Когда в доме грязь, и никто не считает, и никто не заботится... мы выцветаем. Сначала тускнеем. Потом становимся прозрачными. Потом... потом нас нет. — Он судорожно вздохнул. — Я ем свечи и сало, потому что в них есть... ну... немножко домашнего. Немножко тепла. Чтобы продержаться. Но этого мало. С каждым годом меньше.

Алиса медленно разжала пальцы.

Клом не убежал. Он стоял на полу, прижимая к груди сало, потирая освобождённое ухо, и смотрел на неё снизу вверх огромными жёлтыми глазами. Настороженно. Недоверчиво. С той же отчаянной надеждой, с какой Марта смотрела на ложку с кипячёной водой.

— Слушай, Клом, — сказала Алиса. — Давай договоримся.

— О чём? — с подозрением спросил кладовик.

— Сало можешь оставить себе. Этот кусок. И будешь получать по такому же кусочку — каждый день. Пока не отъешься.

Уши Клома медленно, недоверчиво поднялись.

— В обмен на что? — спросил он, и в его скрипучем голосе прозвучало что-то очень деловое. — Даром ничего не бывает. Это первое правило учёта.

— В обмен на молчание, — сказала Алиса. — Ты никому не скажешь, что у меня под кроватью жир. Ни экономке, ни управляющему, ни Йорну. И на помощь. Ты ведь знаешь этот дом. Каждый угол. Каждую кладовку. Каждый замок.

Клом прищурился. Подумал. Почесал длинным пальцем за ухом.

— Каждую кладовку, — подтвердил он медленно. — Каждый замок. Каждую мышь по имени. И каждого вора тоже. — Он помолчал и добавил странным тоном: — Особенно каждого вора.

— Вот и договорились?

Клом пожевал губами. Потом решительно протянул ей руку — тонкую, прозрачную, с длинными цепкими пальцами. Алиса осторожно пожала её. Рука была тёплой и шершавой, как старое дерево.

— Договорились, — сказал кладовик. — Но учтите, хозяйка. Я всё записываю. Каждый кусок сала. Каждую свечку. И серьги ваши тоже записал. Втридорога вы их отдали. Втридорога! Фрида Бодова за ваши серьги три котла купит и ещё на корову останется. Безобразие.

— Ты подсматривал?

— Я кладовик, — с достоинством сказал Клом. — Я не подсматриваю. Я веду учёт.

И, прежде чем Алиса успела ответить, он исчез — нырнул под кровать, в тень, в щель между половицами, — вместе с салом.

Алиса долго сидела в темноте, глядя на то место, где он только что стоял. Потом тихо рассмеялась — впервые за все эти безумные дни, по-настоящему, до слёз, до колотья в боку.

— Хозяйка, — повторила она, отсмеявшись. — Он назвал меня хозяйкой.

Где-то под полом довольно чавкнули. А потом — Алиса могла бы поклясться — скрипучий голосок пробормотал себе под нос:

— Серьги — две. Сало — четыре горшка. Нет, два. Котёл — один, чужой. Горшок — один, разбит. Убыток. Сплошной убыток...

Алиса легла, укрылась плащом и уснула с улыбкой. Рука болела. Мыла не было. Жир лежал под кроватью, и его охранял полупрозрачный голодный дух, который вёл учёт.

Это было начало.

Глава 5. Первая пена

Мыло не получилось.

Нет, не так. Мыло не просто не получилось — оно не получилось громко, вонюче и публично, с той особой, издевательской основательностью, на которую способны только первые попытки.

А ведь начиналось всё так хорошо.

Утро выдалось ясным и почти тёплым — первым по-настоящему весенним утром с тех пор, как Алиса открыла глаза в холодной карете. Солнце выкатилось из-за озера, туман над водой порозовел и растаял, и даже мёртвый дом на холме, облитый золотым светом, на минуту показался не таким уж мёртвым. В кустах за конюшней возились и орали воробьи.

Алиса и Матильда развели костёр за конюшней ещё затемно. Чугунный котёл старосты Бодо — огромный, закопчённый, с тремя кривыми ножками — водрузили на камни. Вчерашние ожоги на руках подсохли и затянулись корочкой. Сегодня Алиса обмотала руки чистыми тряпками в три слоя, а на Матильду надела кожаный фартук, который выпросила у кузнеца. Кузнец, кстати, оказался в деревне единственным человеком, который не задал ни одного вопроса, — просто снял фартук с гвоздя и отдал, буркнув: «Вернёте».

Щёлок на этот раз сделали аккуратнее. Не уваривали до одури — Алиса проверила его пером, потом подержала над паром ладонь, принюхалась, капнула на щепку и посмотрела, как быстро темнеет дерево. На глаз выходило где-то посередине. Не слабый, не бешеный. Наверное, нормальный.

«Наверное» — это было плохое слово. На производстве за слово «наверное» снимали премию. Но выбирать не приходилось.

Жир растопили в котле. Он плавился медленно, неохотно, расползаясь по дну мутной желтоватой лужей, в которой плавали какие-то шкварки, волоски и непонятные тёмные крошки. Пахло — ну, пахло жиром. Не очень свежим жиром. Если честно, местами — откровенно прогорклым.

— Тильда, лей щёлок, — скомандовала Алиса. — Тонкой струйкой. А я мешаю.

Матильда, прикусив губу от усердия, лила. Алиса мешала длинной палкой, обструганной из ветки. Мешала долго. Мешала изо всех сил. По науке, щёлочь и жир должны были вступить в реакцию — омыление, — и смесь должна была начать густеть, мутнеть, становиться похожей на заварной крем. На производстве это называли «след»: когда капля смеси, упав с ложки на поверхность, оставляет на ней видимый след, значит, процесс пошёл.

Здесь процесс шёл. Только не туда.

Сначала смесь вроде бы помутнела и чуть загустела, и у Алисы радостно ёкнуло сердце. Потом огонь под котлом вспыхнул ярче — ветер подул, — и смесь забурлила, зашипела, поднялась шапкой бурой пены. Алиса отскочила. Матильда взвизгнула. Пену удалось сбить, огонь — пригасить, но смесь в котле уже стала другой — какой-то рваной, неоднородной, с жирными каплями на поверхности. Алиса мешала снова. Огонь, приглушённый, сник — и смесь начала остывать, загустевая неравномерно, комками, как плохая манная каша.

А потом она расслоилась.

Прямо на глазах. Сверху — мутный жёлтый слой жира, маслянистый, холодный. Снизу — бурая вода. А посередине — какие-то серые, рыхлые, ноздреватые хлопья, похожие то ли на творог, то ли на грязную вату.

И запах. Боже, какой запах. Прогорклое сало, горелая зола и ещё что-то неуловимо тошнотворное, кислое, мерзкое — будто где-то в кустах неделю лежала дохлая кошка, а потом её решили поджарить.

— Ой, — сказала Матильда, зажимая нос. — Госпожа, а оно... так должно?

— Нет, — сказала Алиса. — Оно так не должно.

Из-за угла конюшни донеслось хихиканье.

Алиса обернулась. За углом, не особенно и прячась, стояли две служанки — круглолицая, с соломенными косами, которую звали Грета, и востроносая Лотта. Обе зажимали носы и давились смехом.

— Фу-у-у, — протянула Грета. — Чем это у вас воняет, барышня? Колдуете? Зелье от женихов?

— От женихов не надо, — подхватила Лотта. — Им и так никто не нужен. Это зелье для привлечения. Чтоб хоть кто-нибудь посмотрел!

Обе так и покатились со смеху.

К ним, привлечённые шумом и запахом, подтянулись ещё зрители. Лакей Курт с метлой. Конюх-подросток. Сам Йорн — он вышел из конюшни, прислонился к косяку и оглядел котёл с выражением человека, который смотрит отличный бесплатный спектакль.

— Ну и вонь, — сказал он лениво. — Свиньи и то чище пахнут. Слышь, барышня, может, лучше вам в деревню вернуться? Там, говорят, бабка Ульна мочой лечит. Вам как раз компания.

Хохот за углом стал громче.

Матильда стояла у котла, красная, как свёкла. В её больших серых глазах набухли слёзы — крупные, тяжёлые, — и она изо всех сил старалась их удержать, кусая губы, но одна всё-таки сорвалась и покатилась по веснушчатой щеке, оставляя на ней чистую дорожку в саже.

Алиса посмотрела на неё. Потом на котёл с отвратительной жижей. Потом на ухмыляющихся зрителей.

Внутри у неё всё сжалось и похолодело — от стыда, от обиды, от бессилия. Прежняя Алиса, наверное, убежала бы. Нынешнюю тоже очень тянуло.

Вместо этого она подошла к Матильде, достала из рукава чистую тряпицу и аккуратно стёрла с её щеки слезу вместе с сажей.

— Не плачь, — сказала она тихо, но так, чтобы слышали и за углом. — Это первая партия. Первые партии всегда идут в брак. Знаешь, сколько я испортила, прежде чем у меня что-то получилось?

— Сколько? — всхлипнула Матильда.

Алиса задумалась. Честно посчитала.

— Восемь, — сказала она. — Восемь котлов. Один даже взорвался. Ну, не совсем взорвался — его выбросило на потолок. Я потом месяц отмывала.

Матильда моргнула. Слёзы на её глазах высохли от чистого изумления.

— Восемь?

— Восемь. А потом — девятая. И девятая была лучшей во всём... в нашей округе. — Алиса повернулась к зрителям и улыбнулась им — широко, весело, словно они были её лучшими друзьями. — Спасибо, что зашли! Приходите через неделю. Будем мыть вас бесплатно. Вам, Йорн, судя по запаху, — в первую очередь.

Наступила тишина. Потом лакей Курт — неожиданно для всех, а прежде всего для самого себя — фыркнул. Конюх-подросток подавился смешком. Даже Лотта захихикала, но уже не над Алисой — над Йорном.

Йорн побагровел, открыл рот, закрыл его, плюнул под ноги и ушёл в конюшню, грохнув дверью.

Зрители, потеряв главного актёра, разошлись.

* * *

Вечером Алиса сидела в своей мансарде при свете огарка — нового, который Матильда раздобыла неведомо где, — и составляла протокол.

Протокол она чертила углём на гладкой дощечке, которую оторвала от старого ящика. Писать было непривычно — рука, привыкшая к ручке, плохо слушалась уголька, буквы выходили кривыми, но Алиса упрямо выводила их, строчку за строчкой. И чем дальше писала, тем спокойнее ей становилось. Это было знакомое, родное, почти медитативное занятие. На производстве после каждого брака полагалось составить акт: что сломалось, почему, кто виноват, что делать. Начальница ОТК, суровая Нина Фёдоровна, говорила: «Брак — это не беда, Аля. Беда — это брак, из которого ты ничего не поняла».

«Протокол № 1. Партия мыла, брак», — вывела Алиса. И ниже — по пунктам:

«1. Сырьё. Жир грязный. Шкварки, волосы, крошки. Местами прогорклый. Прогорклый жир — это продукты окисления, они мешают омылению и воняют. Решение: перетопить жир с водой и солью. Грязь осядет, соль вытянет лишнее. Снимать чистый слой сверху».

«2. Щёлок. Крепость неизвестна. Определяли "на глаз". Глаз врёт. Решение: нужен способ точной проверки. Яйцо. Нужно яйцо».

«3. Пропорции. Отсутствуют. Сколько щёлока на сколько жира — не знаю. Таблицы нет. Решение: брать маленькие пробы, считать в кружках».

«4. Температура. Прыгала. Огонь то вспыхивал, то гас. Котёл то кипел, то остывал. Омыление идёт при ровном, умеренном тепле. Кипение — плохо. Остывание — тоже плохо. Решение:...»

Она остановилась. Уголёк завис над дощечкой.

Решения не было. В этом мире не существовало ни термометров, ни водяных бань с терморегулятором, ни газовых плит с ручкой «тише-громче». Был костёр. А костёр — штука капризная, как трёхлетний ребёнок: то разгорится, то задует ветром, то прогорит.

«5. Мыло из щёлока на золе — мягкое, калиевое. Для твёрдого нужно высаливание: в конце добавить крепкий солевой раствор, мыло всплывёт сверху, вода с примесями уйдёт вниз. Соль есть — от Фриды. Решение: высаливать».

Она перечитала написанное. Вышло пять пунктов. Четыре решения. И одна дыра.

Температура.

— Яйцо, — сказал кто-то у её ноги.

Алиса вздрогнула и посмотрела вниз. На полу сидел Клом. Он, похоже, появился уже давно — сидел, поджав под себя тонкие ножки, и с интересом разглядывал её дощечку, наклонив голову набок, как птица.

— Что — яйцо? — спросила Алиса.

— Вам яйцо нужно, — терпеливо объяснил кладовик. — Вы написали. Пункт второй. — Он ткнул длинным пальцем в дощечку. — Я грамоте учёный, хозяйка. Кладовикам без грамоты нельзя. Учёт без грамоты — это не учёт, это гадание.

— Ну, нужно. Только где я его возьму? Все яйца у фру Хольт под замком.

Клом посмотрел на неё долгим снисходительным взглядом — так смотрит опытный завхоз на первокурсницу, которая не знает, где в общежитии берут лишний матрас.

— Под замком, — повторил он. — У Хольтихи. Хозяйка, я восемьдесят лет в этом доме живу. Я знаю, где у Хольтихи замок, где у Хольтихи ключ, где у Хольтихи запасной ключ и где у Хольтихи ключ, про который Хольтиха думает, что его никто не знает.

Он исчез под кроватью. Через минуту вернулся — и положил к её ногам три яйца. Белых, крупных, свежих.

— Записал, — сообщил он. — Три яйца — в расход. Из кладовой номер два. По хозяйственной надобности.

— А фру Хольт не заметит?

Клом хихикнул — тем самым скрипучим хихиканьем, которое она слышала в первую ночь.

— Хольтиха яйца не считает. Хольтиха считает только то, что потом продаёт. А яйца она не продаёт — она их ест. — Он помолчал и добавил совсем другим голосом, тихим и серьёзным: — Хозяйка. Мне ваше сало помогло. Вчерашнее. Вот, смотрите.

Он вытянул руку в свет огарка. Рука по-прежнему была тонкой, но уже не такой прозрачной, как вчера. Половицы сквозь неё почти не просвечивали.

— Это не от сала, — сказал Клом. — Сало я и раньше крал. Это от... от того, что кто-то в доме дело делает. Понимаете? Не просто живёт, а дело делает. Для дома. Нам, кладовикам, от этого легче.

Алиса смотрела на его руку. И что-то в ней дрогнуло.

— Значит, будем делать дело, — сказала она. — Вместе.

* * *

На следующий день они перетопили жир.

Это было долго, муторно и вонюче, но результат того стоил. Алиса залила жир водой, добавила горсть соли и долго кипятила, пока грязь и шкварки не опустились на дно, а сверху не собрался чистый белый слой. Его сняли, остудили, перетопили ещё раз. Жир стал белым, плотным, пахнущим — да, всё ещё жиром, но уже не тухлым, а просто жиром, чистым и честным.

Щёлок проверили яйцом. Первое яйцо утонуло — слишком слабый. Уварили немного. Второе яйцо всплыло, высунув из бурой жидкости макушку размером с медную монетку.

— Вот, — сказала Алиса с облегчением. — Вот так правильно.

Оставалась температура.

Котёл снова поставили на огонь. Алиса растопила жир, начала вливать щёлок, мешая палкой. Огонь горел ровно — Матильда сидела рядом на корточках и подкладывала в костёр щепки по одной, следя за пламенем с серьёзностью часового. Но стоило ветру дунуть — пламя вспыхивало, смесь начинала бурлить. Стоило Матильде замешкаться — огонь опадал, и смесь стыла.

Алиса стиснула зубы. Не получится. Опять не получится.

И тогда она вспомнила горшок в избе у Марты. Тепло в ладонях. Тонкую послушную ниточку, которую можно натянуть и отпустить.

Бытовой дар. Кухонная искра.

Она отложила палку. Обмотала руки тряпкой потолще и положила ладони на край котла — с той стороны, где чугун был уже горячим, но ещё терпимым.

Сначала ничего не случилось. Только чугун жёг ладони даже сквозь тряпку. Потом — где-то в груди, как тогда, в избе, — затеплилось. Потекло по рукам. Ушло в чугун.

Нет, не так, поняла Алиса. Не надо просто греть. Греть — это огонь умеет. Надо... держать.

Она закрыла глаза.

И представила себе, что происходит там, внутри котла. Не так, как представляла бы Матильда или бабка Ульна, — не как варево, не как колдовство. А так, как учили на лекциях по органической химии, которые она когда-то прогуливала, а потом зубрила по ночам перед сессией. Длинные, тяжёлые, ленивые молекулы жира — триглицериды, три хвоста на одной голове. И ионы щёлочи, маленькие, злые, быстрые. Они кружатся, сталкиваются, промахиваются. Чтобы зацепиться, им нужна энергия. Не много — но и не мало. Ровно столько, сколько нужно. Если тепла мало — они вялые, сонные, не встречаются. Если много — мечутся, как сумасшедшие, бьются и разлетаются. Нужна середина. Ровная, спокойная, постоянная середина.

Тепла ровно столько, сколько нужно.

И тепло послушалось.

Это было удивительное ощущение — как будто у неё вдруг выросли ещё одни руки, невидимые, длинные, проникающие сквозь чугун прямо в густую смесь. Она чувствовала её.

Не глазами, не кожей — чем-то другим, чему у неё не было названия. Она чувствовала, где смесь горячее, а где холоднее. Где жир уже встретился со щёлочью, а где ещё плавает отдельно. И она могла — чуть-чуть, совсем немного — подтолкнуть тепло туда, где его не хватало, и отнять оттуда, где было лишнее. Выровнять. Успокоить. Удержать.

Смесь в котле перестала бурлить. Она замерла — и медленно, ровно, однородно начала густеть. Мутнеть. Становиться похожей на светлый заварной крем.

— Госпожа, — прошептала Матильда. — Госпожа, смотрите...

Алиса открыла глаза.

Матильда держала палку над котлом. С палки медленно, тягуче стекала капля густой светлой массы. Она упала на поверхность — и не утонула, не растворилась, а легла сверху маленьким аккуратным холмиком, оставляя за собой видимый след.

След.

Получилось.

— Тильда, — сказала Алиса странным, далёким голосом. — Мешай. Мешай, не останавливайся...

Она хотела сказать ещё что-то — про соль, про высаливание, про то, что сейчас главное не упустить, — но тут земля под ногами почему-то накренилась. Небо над конюшней поплыло куда-то вбок. В ушах тонко, пронзительно зазвенело, как будто где-то рядом лопнула струна. Ладони, лежавшие на котле, вдруг стали очень тяжёлыми и очень холодными.

Последнее, что она увидела, — испуганное лицо Матильды и серую тень с огромными ушами, мелькнувшую у ног.

Потом стало темно.

Она очнулась на соломе в конюшне. Над ней было закопчённое бревенчатое перекрытие, по которому полз паук. Пахло сеном и лошадьми. Под головой лежало что-то мягкое и вонючее — похоже, свёрнутая конская попона.

Рядом сидела Матильда и держала её за руку. Лицо у неё было белое, а глаза — огромные.

— Очнулись! — выдохнула она. — Госпожа, вы очнулись! Ох, госпожа, вы так упали! Я думала — всё, думала — померли! Как подкошенная — бах! А руки у вас — холодные-холодные, как у покойницы! Я вас еле дотащила, вы тяжёлая, хоть и худая...

— Сколько... — Алиса облизнула пересохшие губы. Голова гудела, как колокол. Всё тело было ватным и слабым, а в желудке разверзлась такая чёрная дыра голода, будто она не ела неделю. — Сколько я лежала?

— Да с полчаса, не больше. — Матильда торопливо сунула ей кружку с водой. — Пейте. Это кипячёная, я как вы учили...

Алиса жадно выпила. Потом ещё. В голове немного прояснилось.

— Котёл, — сказала она. — Тильда, котёл!

— Я мешала! — Матильда даже подпрыгнула. — Как вы велели — мешала и мешала, не останавливалась! А потом... потом вот он, — она кивнула куда-то в угол, — он сказал, что надо соль сыпать. Я и сыпала.

Алиса медленно повернула голову.

В углу конюшни, на перевёрнутом ведре, сидел Клом. Он болтал тонкими ножками, жевал кусок сала и выглядел чрезвычайно довольным собой.

— Ты его видишь? — тихо спросила Алиса у Матильды.

— Ну да, — удивилась Матильда. — Он же вот, сидит. Ой, госпожа, я так испугалась, когда он вылез! Думала — крыса огромная! А он как зашипит: «Сыпь соль, глупая девка, сыпь, пока не перекипело!» Я и сыпала. А он считал — сколько горстей.

— Семь горстей, — сообщил Клом с ведра. — Крупной соли, от Фриды Бодовой. Записал. И ещё — ваш дар, хозяйка. Тоже записал. В расход.

— Это как — в расход?

Клом перестал жевать. Посмотрел на неё серьёзно.

— Вы его весь потратили, — сказал он. — До донышка. Как свечу до огарка. Дар — он не бесконечный, хозяйка. Он из вас самой берётся. Из тепла, из сил. Потратили сразу много — вот и упали. Старая герцогиня, царство ей огненное, тоже бытовой дар имела, тихий. Она мне говорила: «Клом, искра — она как кошелёк. Можно тратить, но надо и пополнять». Ешьте. Спите. И не хватайтесь сразу за большой котёл. Учитесь понемножку.

Он спрыгнул с ведра и протянул ей — длинной цепкой рукой — кусок хлеба с салом.

Алиса взяла. Съела. Это был самый вкусный хлеб с салом в её жизни — во всех её жизнях.

* * *

Мыло получилось.

Не идеальное. Не такое, как на ярмарке мастеров, — не ровными брусками с вдавленным логотипом, не в пергаменте с ленточкой, не с лавандой и овсянкой. Оно было желтоватым, плотным, чуть неровным, с лёгким запахом сала и древесной золы. Когда его высолили, оно всплыло на поверхность котла толстым светлым пластом, который можно было снять лопаткой. Когда его выложили в деревянный ящик и придавили, оно застыло. Когда Алиса на следующее утро разрезала его ножом на бруски — нож шёл мягко, ровно, как сквозь холодное масло.

Она взяла один брусок, намочила в ведре и потёрла руки.

Пена была небольшой. Мелкой, плотной, белой. Руки стали скользкими, чистыми, и не жгло. Совсем не жгло. Она понюхала ладони — пахло мылом. Простым, честным, деревенским мылом.

Матильда, стоявшая рядом, смотрела на её руки так, словно Алиса только что превратила воду в вино.

— Можно? — шёпотом спросила она.

Алиса протянула ей брусок.

Матильда намочила его, потёрла свои красные, потрескавшиеся руки. Пена закурчавилась между пальцами. Матильда смотрела на неё, не дыша. Потом поднесла руки к лицу, понюхала. Потом вдруг рассмеялась — тихо, счастливо, по-детски, и смех этот был таким чистым и звонким, что из кустов за конюшней с перепугу вспорхнули воробьи.

— Не жжёт, — сказала она. — Госпожа, совсем не жжёт!

— Пойдём к твоей маме, — сказала Алиса. — И возьмём ещё ведро горячей воды.

В доме Марты в тот день случилось то, о чём потом ещё долго рассказывали в Нижних Порогах. Шёпотом, с придыханием, приукрашивая с каждым разом.

Сначала мыли Пима. Он сопротивлялся, визжал и брыкался, как поросёнок, — после болезни у него проснулся такой аппетит к жизни, что он сопротивлялся всему подряд, — но Алиса держала крепко, а Матильда тёрла его мочалкой из лыка, и через полчаса из корыта вылез мальчик, которого мать, кажется, не видела таким чистым никогда. У него оказались розовые уши. Розовые пятки. Белая, как молоко, шея. И волосы — не серые, а белые, как у сестры, только чуть с рыжинкой.

Потом мыли Ганну. Ганна не сопротивлялась. Она стояла в корыте, зажмурившись, и вся сияла, когда тёплая мыльная вода стекала по её худеньким плечам.

Потом — к изумлению Алисы — у двери образовалась очередь.

Соседка Марты, рябая Ута, с двумя младенцами на руках. Её свекровь, сгорбленная, беззубая, но с удивительно цепкими глазами. Жена рыжего Кнопфа — та, что неделю назад хоронила младшенького, — пришла молча, с двумя оставшимися детьми, и просто стояла у порога, держа их за руки, не говоря ни слова. Но в её глазах было столько всего, что Алиса без слов взяла у неё ребёнка и сама опустила его в корыто.

Мыла хватило на всех. Впритык, но хватило.

А потом Алиса взяла последний обмылок и подошла к Марте, которая стояла в стороне, у своего вечного корыта, и смотрела на всё это со странным, застывшим лицом.

— Дайте руки, — сказала Алиса.

Марта посмотрела на свои руки — красные, растрескавшиеся, с язвами на костяшках, с белыми полосками старых ожогов от щёлока. Потом на Алису. Потом медленно, неуверенно протянула.

Алиса намылила их. Осторожно, бережно, обходя трещины. Пена легла мягко, как снег. Потом смыла тёплой водой, промокнула чистой тряпицей. И смазала растопленным жиром — тем, что остался, чистым, белым.

Марта смотрела на свои руки. Губы у неё дрожали.

— Вы, госпожа, — сказала она наконец хрипло, — ведь не простая. Совсем не простая.

— Я мыловар, Марта, — сказала Алиса и улыбнулась. — Я же говорила.

Фру Хольт видела всё это с вершины холма.

Она стояла у окна в коридоре второго этажа — у одного из немногих окон, в котором ещё сохранилось мутное зеленоватое стекло, — и смотрела вниз, на деревню. На дом прачки. На толпу у дома прачки. На маленькую фигурку в заштопанном платье, которая стояла среди этой толпы.

Она смотрела долго. Потом повернулась и пошла — прямая, как кочерга, звеня ключами — к флигелю у ворот.

Грегор Хольт сидел в конторе за своими книгами. В печи весело трещали дрова. На столе стоял серебряный кувшинчик с подогретым вином и тарелка с медовыми пряниками.

— Она варит мыло, — сказала фру Хольт с порога.

Хольт поднял голову.

— Кто?

— Пустышка. Варит мыло. За конюшней. В котле, который взяла у Бодо. Выменяла на серьги. — Фру Хольт поджала губы. — И деревня к ней ходит. Вся. Я видела. Моют детей.

Хольт отложил перо. Взял пряник, задумчиво откусил.

— Мыло, — повторил он. — Мыло, Ингрид, — это не просто так. Ты знаешь, почём в Ворне брусок привозного мыла? Три марки. Три марки, Ингрид! За брусок величиной с ладонь!

— Ты хочешь, чтобы я ей помешала?

Хольт дожевал пряник. Аккуратно стряхнул крошки с белоснежного шейного платка. Улыбнулся — той самой отеческой, понимающей, тёплой улыбкой.

— Нет, — сказал он мягко. — Пока — нет. Пусть варит. Пусть учится. Посмотрим, что у неё получится.

Он взял со стола толстую конторскую книгу, открыл её и обмакнул перо в чернильницу.

— А потом решим, — добавил он, — чьё это мыло.

В темноте под полом конторы, куда не доставал свет от весёлой изразцовой печки, кто-то очень тихо, очень внимательно слушал. Тонкие длинные пальцы, уже почти не прозрачные, медленно сжались в кулачок.

А потом этот кто-то — кладовик, восемьдесят лет хранивший учёт в доме фон Грантов, — достал из-под жилетки огрызок грифеля и маленькую потрёпанную книжечку, свою, тайную, о существовании которой не знал никто, и аккуратно вывел в ней новую строчку.

Под длинным, длинным, очень длинным списком.

Глава 6. Кладовик

— Ты так и не рассказал, — сказала Алиса, — откуда вы берётесь.

Была ночь. В мансарде горел огарок — на этот раз честно выданный Кломом из какой-то загадочной заначки и тщательно записанный в расход. За бумажным окном шелестел мелкий дождь. Алиса сидела на кровати, поджав ноги и закутавшись в шаль, а Клом устроился на столе, рядом со свечой, и грел над огоньком длинные пальцы, как старик греет руки над костром.

После истории с мылом он приходил каждый вечер. Сначала — за своим законным куском сала. Потом стал задерживаться. Потом стал задерживаться надолго. Алиса не возражала. Ей, если честно, было одиноко. Матильда уходила на ночь в людскую — Хольтиха считала служанок по головам перед сном, как кур. А больше в этом доме поговорить было не с кем.

— Откуда берёмся? — Клом пожевал губами. — Да кто ж его знает, хозяйка. Это как спросить, откуда берётся запах хлеба. Вот печь затопили, тесто поставили, хозяйка в фартуке муку сеет — и запах появился. А откуда он взялся? Из печи? Из теста? Из хозяйки?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.